

У Р Р А Ї Н С Ь Р А Р Л А С Ц И Р А



Марко Вовчок

ТРИ ДОЛІ

CF FOLIO

Марко Вовчок

Три долі

«Фолио»

Вовчок М.

Три долі / М. Вовчок — «Фолио»,

Марка Вовчка (літературний псевдонім Марії Олександрівни Вілінської, 1833–1907) справедливо називають літературною донькою Т. Шевченка. Твори письменниці відіграли провідну роль у становленні української реалістичної прози. Найвищого мистецького рівня вона досягає у зображенні трагічної долі жінки-кріпачки, яка в тогочасному суспільстві зазнала найбільшого приниження й безправ'я. Цей образ посідає центральне місце в багатьох оповіданнях письменниці. До видання увійшли твори письменниці, написані російською мовою (оповідання «Маруся», «Маша»), а також повісті, оповідання та казки («Чортова пригода», «Невільничка», «Отець Андрій», «Інститутка» й «Три долі»).

© Вовчок М.

© Фолио

Содержание

Оповідання	5
Маруся	5
I	5
II	6
III	8
IV	11
V	12
VI	14
VII	16
VIII	18
IX	21
1	22
X	23
XI	25
XII	26
XIII	28
XIV	30
XV	32
XVI	34
XVII	37
XVIII	40
XIX	44
XX	48
XXI	54
XXII	57
Маша	61
I	61
II	61
III	62
IV	63
V	63
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Марко Вовчок

Три долі

Повісті, оповідання, казки

Оповідання

Маруся

I

То, что я расскажу вам, деялось давным-давно на Украине, в самой глуши, и до сих пор по свету еще не разнеслось. Старушка, которая мне рассказывала, уверяла, что будто в глуши есть немало честных великих дел, все равно как пышных цветов. И говорила старуха, – а она была очень стара, прожила немало на белом свете, много кое-чего повидала и много кое-чего поиспытала, – ничто в мире не может сравняться с этими, в тиши растущими, цветами, ни с этими, в глуши таящимися, делами. Века идут, проходят, говорила она, а всегда одинаково пышные, свежие цветы радуют взор своею прелестью, а тихие великие дела сладостно смягчают сердце человеческое.

Давным-давно на Украине стоял хутор, а в этом хуторе жил козак Данило Чабан с женою и с детьми.

Хутор этот, где они жили, таков, что лучшего не пожелал бы себе самый прихотливый человек. Достался он Данилу, перешед через руки Бог знает скольких прадедов и прабабок, а ведь известно всякому, что где поселится украинец с украинкою, там сейчас же зацветет вишневым садик около белой хатки, заблагоухают всякие цветы, разбегутся извивчивые тропинки по степи и по роще и раздадутся мелодические песни, – так можете вы себе представить, что за сад это был, взлелеянный столькими поколениями Чабанов, каково обилие цветов, сколько избранных местечек и в степи, и в лесу, и на лугу по соседству, и что за богатство песен.

Кроме того, сам Бог счастливо поместил этот хутор между степью и лесом, рекою и лугом, горою и долиною: с одной стороны степь убегала из глаз, зеленая, безбрежная, пахучая, волнующаяся переливными волнами зелени; с другой стороны возносились горы, то убранные в деревья, в мягкую мураву, то каменистые и обнаженные. Прелестная долина, совсем уединенная, без следов и дорог, как-то блаженно цвела себе с третьей стороны – а с четвертой катилась река, то по лугу, вровень с мягкими берегами, отражая в своих водах одно небо с его светилами да гирлянды гибких камышей, то вдруг попадалась между двух скалистых утесов и шумела под их громадною аркою.

Боже! как хорошо бывало в летнее утро, когда солнце всходило, луг сверкал под росистыми каплями и выпархивали птицы, притаившиеся в камышах, и легкая пелена тумана качалась над рекою! Боже! как сладки бывали в безмятежной долине, при первых лучах солнца, первые утренние благоухания трав и цветов! А освеженные ночью тишиною горы, позлащенные утренним светом и блеском! А тихо шелестящие леса! А степь безграничная, вся в тенях и разливах света!

Это утро, – а день какой! День, когда все в природе проснулось, живет в полном разгаре света, жизни и деятельности! Как шумели тогда свежие леса и как сияла безмятежная долина!

Как нежила роскошная степь, и что творил с человеческою душою ропот глубокой реки, соединенный с трепетом звонких камышей!

А вечер? Тихий, розовый вечер, обнимающий землю темнотою и прохладой! А выступающие звезды и всходящий месяц – полоса лунного света по темной степи, – часть лесной опушки, посребренная сиянием, – чашечки ночных цветов в долине, мягко освещенные лунным лучом, – сверкающие из речной глубины и струящиеся в текущих струях звезды, одна гора, вся помраченная, другая вся посветлевшая, и ясный огонек в хатке, потонувшей в середине цветущего сада!

И кроме этого благодатного соседства мягкого луга с глубоководною рекою, величавых гор и цветущей долины, шумящего леса и волнующейся степи, было еще доброе соседство хороших людей козацкого рода.

Каждый праздник уж непременно или сами Чабаны выбирались в гости, или надо было им приглядываться и узнавать, кто это подвигается по степовой дороге к хатке: Семен ли Ворошило или Андрий Крук; или надо было выходить навстречу, слышав по долине звонкий говор веселой и миловидной девушки Ганны, появляющейся впереди других девушек и молодиц, в исполинском ярком, только что по дороге сплетенном, венке на головке; или надо было ждать на берегу, пока приближалась утлая лодочка Ивана Грима.

Да что проку перечислять всех друзей и приятелей, и к чему рассказывать все их увеселения и забавы, приятные встречи, дорогие свиданья, ласковые расставанья? Вчуже самая милая забава может показаться самою скучною, самая большая радость непонятною – это известно, и известно тоже, что иногда никакие заманчивые игры и ликованья не сравнятся с тихою беседою добрых знакомых людей, и никакие красноречивые речи не заменят молчаливого сообщества надежного, верного друга. Мне кажется, лучше всего будет просто сказать, что на хуторе житье было очень хорошее, такое хорошее, что никому и в голову не приходило его в чем-нибудь изменить, ни у кого не являлось желания чем-нибудь его украсить.

Но жизнь человеческая, как говорится, не прямая ровная, гладкая дорога. Ох, сколько рытвин, пропастей и всяких напастей!

И вот по Украине стали носиться недобрые слухи, а что еще и того хуже, стали твориться недобрые дела. Чем цветок душистее и свежее, тем быстрее протягиваются руки к цветку, и «за его прелесть срывают его», – хороша была Украина, и вот татары и прочие разные враги льнули к ней и раздирали ее, соперничая друг с дружкой в обмане, ненасытности и предательстве.

Много было кровавых, грозных сеч, трудных переворотов, печальных и ужасных событий, – о них долго бы рассказывать.

При Богдане Хмельницком, – я надеюсь, что вы все слышали и знаете немножко, что за гетман был Богдан Хмельницкий? – при Богдане Хмельницком Украина как будто приотдохнула, но после его смерти такие смуты опять наступили, такие беды, что, говорят, тогда самые грозные глаза плакали и самые мудрые головы кружились.

Народ украинский разделился на партии: кто стоял за великороссов, кто за поляков, кто за дружбу с татарами. Как всегда почти, к сожалению, бывает, к общим делам примешались частные делишки, возникли ссоры, распри и в конце концов вышло по пословице: запрягли то и прямо, да поехали криво.

II

Раз ввечеру собрались гости у Данилы Чабана. Вечер был тихий, темный, гости были задумчивы и смиренны, хозяева не хлопотливы и не веселы. Больше менялись взглядами, чем словами. Всех, кажется, занимали одни и те же мысли, всех тяготили одни и те же заботы. Изредка обращались к Андрию Круку с вопросами о городе Чигирине, и если речь велась, то велась она все о том же городе Чигирине.

Видно было, что Андрий Крук хорошо знал этот город: он отвечал без запинки и точно рисовал своим рассказом и стены Чигиринские, и улицы, и крепостные валы.

Женщины тоскливо прислушивались к мужским разговорам, а когда разговоры эти умолкали и клубы дыма начинали обвивать усатые лица, они тихо перешептывались. В их шепоте все слышалось о разных битвах, о спаленных городах, о разоренных селах, о павших в сече людях. Беспреданно женские лица бледнели, беспреданно слезы сверкали на глазах.

Одна старуха сидела, точно изваянная, неподвижно, изредка только, когда все умолкали, она, как бы очнувшись, говорила:

– Мои оба пошли. Я сама снаряжала!

– Твой тоже ушел? – тихо спросила одна молодая девушка, судя по бледности лица и лихорадочному оживлению, сама недавно проводившая «своего», у подруги.

– Ушел. Вчера ввечеру мы...

Она хотела что-то рассказать, но губы у нее задрожали и помертвели – она ничего не рассказала, и подруга ее больше не спрашивала.

Дети не возились, не резвились, а ютились где-нибудь в уголку и, с омраченными личиками, тоже думали свои думы, или, усевшись около стариков, настораживали ушки и, казалось, ловили все взгляды и запоминали все слова.

Одна только крошечная гостья, с белокудрю головкою, с огромнейшими блестящими глазами и с яркими губками, была совершенно предана своему делу: от усердия и заботы она даже высунула остренький язычок и, сбочив головку, вязала какие-то снопики из травы.

Все больше вечерело и в хате все больше утихало. Уже крошечная гостья, выпустив из рученок снопики, сама снопиком лежала около ног матери, объятая крепким сном, завесившись спустившимися прядями светлых кудрей.

Было темно на дворе, и стало очень тихо в хате.

Вдруг постучались в хатное окошечко...

До того это было неожиданно, что сначала никто не поверил своим ушам. Но стук повторился опять и опять, и повторился очень отчетливо, ясно, громко.

Хозяин поднялся с своего места и пошел отворять двери; его гости и приятели раскурили с прежнею невозмутимостью трубки; женщины заволновались, дети встрепенулись.

Данило приотворил двери и спросил, кто стучится. Ему ответил такой голос, от раскату которого запело хатное окошечко, что прохожий-де человек, усталый странник, просит позволения отдохнуть у ласкового хозяина.

Данило на это ответил: «Милости просим!» и, распахнув двери настежь, пригласил странника войти.

В распахнутые двери ворвалась струя пахучего вечернего воздуха и на мгновение сверкнуло несколько слабосияющих звезд, потом двери заслонила собою исполинская человеческая фигура, во всех углах отдалось и прогудело: «Помогай Боже», и, низко наклонив голову, боком пронесши могучие плечи, вошел в хату странник.

Будь в хате люди с более шатким, с менее невозмутимым нравом, они наверно бы потерялись и не знали бы, как принять этого странника. Хотя на Украине не в диво могучая и блистательная козацкая красота, не скоро бы, однако же, нашелся ровня вошедшему к Даниле Чабану страннику. Этот высоченный рост при удивительной стройности и змеиной гибкости, это загорелое суровое лицо с огненными очами, чуткость и вниманье ко всему, и, вместе с тем, свободное, невозмутимое спокойствие хоть кого заставили бы вздрогнуть.

Но в хате у Данилы собрались все люди неподатливые на переполохи, и потому усталый странник был принят, как подобает усталому страннику: его приветливо просили садиться и радушно угостили чем Бог послал.

Странник отличался и простотою, и скромностью, и добротинием, и благоприличием. Как человек переходящий и никому здесь не известный, он себя вовсе и не выдвигал на вид и

напоказ, а также не впивался он любопытными взглядами во все уголки хозяйской хаты, не выведывал хитрыми, не выпытывал ветренными вопросами о житье-бытье хозяйском, – вовсе нет. Ничуть. Странник, если вел речи, то все вел речи общие, всех тогда занимавшие и волновавшие: о неприятельском хищничестве, о разорении и опустошении Украины, о виденных им по пути грабежах и буйствах; спросил хозяина, мирно ли пока у них и безопасны ли окружные дороги.

Хозяин и хозяйские гости, с своей стороны, показали себя примерно: глядя на такого странника, верно, им приходили в голову вопросы, от которых до смерти чесался язык: откуда он, странник, явился и куда путь держит? Сколько он перешагнул гор и долин, пока утомил свои мощные члены? По обету ли странствует он, по нужде или по прихоти? Где он родился и крестился, что говорит о неверном турке, как о не раз ловленном звере, о поляках, как о не раз испытанных панах, о москалях, как о не раз изведанных боярах? Знает он, кажись, немножечко и Сечь Запорожскую, повидал и всю Украину из конца в конец.

Но никто не побеспокоил странника, а себя не унизил ни лукавым, ни прямым вопросом. Разговаривая, только глядели на него, на его сельскую одежду, да соображали про себя, где та мирная нива, возделанная его руками, на которой он приобрел себе шрамище через всю щеку, от горбатого носа до чуткого уха.

Однако чем дальше шла беседа, тем странник становился разговорчивее; вероятно, ободренный общим вниманием и безмолвным участием, он принялся описывать с такою живостью и яркостью недавние битвы, что все притаивали дыханье, точно присутствовали сами зрителями при настоящих сечах. На вид невозмутимые козаки воспламенились; женщины вскрикивали и плакали; дети, потеряв всепобеждающий сон, с полуотверстыми ротиками, с широко раскрывшимися глазами, не шевелились на своих местах, словно зачарованные.

Вдруг резко раздались два пистолетные выстрела один за другим. Все в хате смолкло и наострило слух. Выстрелы прокатились откуда-то из степной дали, и прежняя безмятежная тишина наступила. Молчание длилось, но больше ни единого звука не донеслось, кроме веянья душистого воздуха в цветущих ветвях сада, обступавшего со всех сторон хату.

– И до вашего хутора долетает голосок! – проговорил странник.

– Это никак с Чигиринского шляху? – промолвил Андрий Крук.

– Слышно отовсюду! – сказал хозяин.

В это время женщины стали тихо прощаться с хозяйкою, собираясь по домам. Иные вели, иные несли детей. Между женщинами были и старые, и молодые, и совсем юные, но все их разнородные лица, когда яркий свет осветил их при прощаньи, выражали тысячью разнородных выражений одну и ту же непреклонную волю, которая огненными чертами отпечатлевалась на лицах мужчин. Потопленная в душистоцветущем саду хата, где трепещущий свет каганца отбрасывался на усатых лицах, на пороге полуоткрытой двери фигура хозяина, провожающего глазами удаляющиеся фигуры гостей, тихо исчезающих по окружным тропинкам, двор, соединяющийся со степью, нигде заборов, ни оград, кроме шелестящих деревьев – это представляло, казалось, мирную сельскую картину, но, вместе с тем, картина эта тоже дышала, если можно так выразиться, какою-то особою, безмолвною и тихою, но грозною силою.

Из гостей остались только Андрий Крук и Семен Ворошило.

III

– А каково теперь пробираться к Чигирину? – спросил странник, понижая голос, как человек невольно делает в опасные времена, заводя речь о чем-нибудь для себя важном.

– Да трудненько, – отвечал хозяин. – Повсюду польские отряды...

Хозяйские приятели безмолвно выпустили из уст по огромному клубу дыма, причем слегка приподнялись их густые брови, и все это вместе без слов красноречиво выразило, что мнение их совершенно согласно с мнением хозяина.

Глаза странника устремились на собеседников и переходили с одного невозмутимого лица на другое.

Один взгляд этих огненных, зорких глаз говорил, сколько пережито уже им опасностей, сколько перебыто трудностей и каков есть навык к встрече с бедою, какова ловкость в борьбе с напастью.

– А мне путь прямо в Чигирин, – сказал странник.

– Теперь туда прямо и ворона не пролетит, – заметил Андрий Крук.

– А далеко до Чигирина? – спросил странник.

– Лучше б далеко – да легко, а то близко, да склизко! – отозвался Ворошило, а Андрий Крук кривизной поглядел на странника, а хозяин на Андрия Крука.

– Нашему брату, страннику, не разбирать дорог, – отвечал странник, – хоть часом дорожка лежит и докученькая, а берешь ее... Отрада, если добрый товарищ встретится, панове! Я скажу вам, был у меня добрый товарищ – была у меня с ним и добрая рада, и щирая правда!

При последних словах странника что-то особое мелькнуло на лицах его слушателей.

– Конечно, – сказал хозяин, – доброе братство лучше великого богатства!

– Хороши у поляков паны, у турок султаны, у москалей ребяты, а у нас братья! – сказал Андрий Крук.

– Да не всякого пана познать по жупану! – сказал Ворошило.

– Плохой тот поп, что угадывает праздники тогда, когда минули! – отвечал странник, обводя их своими искрометными глазами.

Ему отвечали не менее говорящими взглядами.

Несколько времени длился этот немой разговор, но до того красноречивый, что после него и слов не понадобилось: друг друга признали.

– С Сечи товарищи поклон шлют! – сказал странник, – а меня послом в Чигирин.

– Мы вам верные друзья и слуги! – ответили ему козаки в один голос.

– Что нового? – спросил сечевик.

– Да один поладил было с Москвою, а другой с Польшею переговаривается, турков на помощь призвал. Тяжкие времена!

Глубокое уныние омрачило козацкие лица. Горесть, прикрытая наружною безмятежностью, вырвалась наружу и высказалась во всей своей мощи.

– Мне надо пробраться в Чигирин, – сказал сечевик после некоторого молчания.

– Все дороги перерезаны.

– А Гунин ход?

– У них в руках!

Сечевик призадумался, но видно было, что его не обманутая надежда огорчала, не пугала трудность, а что он просто прибирал в уме новые средства и способы, как лучше достичь предположенной цели.

– Слушайте, товарищи, – сказал он, подумав, – мне надо пробраться в Чигирин до Петра Дорошенка. Дело идет тут не об одной голове, а идет дело об целой Украй-не... Если опоздаю в Чигирин, то...

Тут сечевик оглянулся на все стороны.

Хозяйки не было в хате, дети послули сидя, и он уже хотел было продолжать свою речь далее, как вдруг встретил устремленные на него глаза, словно два огромные алмаза, горящие участием и вниманием. Глаза эти сияли из темного неосвещенного угла хаты, и только всмотревшись хорошенько, сечевик распознал уютившуюся там грациозную фигурку девочки, непо-

движно рисовавшуюся в тени: как она оперлась на сложенные ручки, вытянув головку, устремив глаза, так и замерла, словно заслушавшись.

– Это моя маленькая дочка, – сказал хозяин, оглянувшись по направлению глаз сечевика. – Маруся, подойди сюда!

Маруся подошла к отцу. Свет ярко ударил ей прямо в личико и рассыпался по всей ее стройной фигурке. Это была настоящая украинка-девочка, с темными бархатными бровями, с загорелыми щечками, в вышитой рубашке с широкими рукавами, в синей запаске и в червонном поясе. Густые русые волосы, сплетенные в косы, и в косах слегка кудрявились и блестели, как шелк. На головке был венок цветов, из которых иные уже поувяли, иные еще сохраняли свою свежесть и слабо пахли.

– Маруся! – сказал отец, – что ты слышала из нашего разговора?

– Все, – отвечала Маруся.

– А что?

Марусины глаза обратились на сечевика.

– Надо в Чигирин, – промолвила она, – надо до пана гетмана...

– Слушай, дочка, – сказал отец медленно и тихо, – что ты слышала, не говори ни одной душе живой, как будто бы ты и не слыхала. Понимаешь?

– Понимаю, тато! – отвечала Маруся.

Отец не повторил наказа, и Маруся не давала никакого обещанья, но в непоколебимой верности девочки никто не усомнился.

– Не надо тебе слушать наших речей, Маруся, – сказал Данило. – Поди, покличь мать из саду, скажи ей, что братья послули.

Маруся покорно пошла к двери, но в эту минуту вдруг послышался лошадиный топот; скакал как будто целый отряд конных, слышались разнотонные крики грубых голосов, и бледное, как смерть, лицо хозяйки показалось в дверях.

– Скачут конные... отряд... – проговорила она. – Прямо к нашей хате... вот они...

– Пропало все дело! – глухо воскликнул Данило.

Сечевик уже был на ногах и держал в руках шапку. Козаки стояли молча. Суматохи не было ни малейшей, но видно было, что мысли страшно работали в каждой голове и что тысячи планов и намерений перевертывались у всякого в уме.

Хозяйка затворила дверь со двора в сени и из сеней в хату и стояла, не сводя глаз с мужа, в ожиданьи приказанья и распоряденья.

Около нее, так же бледна и в таком же смятении, стояла Маруся.

– Вы спите! – проговорил Данило, обращаясь к козакам. – Ты работай, шей! – сказал он жене. – Я пошел к товарищу еще засветло... Козаки пришли волов поглядеть, торгуют у меня...

– Есть выход из светлицы в степь, – обратился он к сечевнику, – иди за мною!

Все это было быстро сказано и вслед за сказанным исполнено быстрее, чем можно рассказать словами.

В одно мгновение оба козака лежали на лавках, погруженные в завидный сон, подложив под головы люльки и шапки; свет играл на их лицах, нисколько не тревожа их крепкого сна, дыханье их было так мерно, что по нем можно было, как по часам, считать время; хозяйка сидела за работою, Маруся тоже, и обе прилежно погрузились в мудрости узорчатых рукавов.

Данило с сечевиком быстро перешагнули темные сени, отворили и затворили за собою дверь светлицы.

IV

Между тем прискакавший отряд был уже у крыльца; храпенье лошадей, переговоры всадников отчетливо были слышны в хате; потом несколько человек спешилось, потом раздался наглый стук в двери и грубый голос закричал:

– Эй, вы!.. отворяйте!

Не успела хозяйка встать и спросить, кто там, как двери чуть не слетели с петель от повторного стука и разбитое стекло со звоном посыпалось в хату вместе с вышибленной рамою. Жесткоусая, широкоскулая образина заглянула в окно, быстро, недоверчиво и подозрительно все обзрела и крикнула:

– Чего не отворяешь?... Чего не отворяешь?...

Хозяйка выпустила из рук работу, но еще стояла на одном месте в нерешимости.

– Отворяй! – закричало вдруг несколько угрожающих голосов, и двери так задрожали под ударами, что вся хата содрогнулась.

Хозяйка отворила дверь. Ватага иноземных солдат ворвалась в хату и с шумом и гамом кинулась шарить по всем углам.

Хозяйка, собрав около себя маленьких детей, внезапно разбуженных, пораженных страхом и изумлением и жадно следящих за всею суматохою глазами, полными слез, стояла в стороне и бесстрастно глядела, как все ее домашнее убранство, вся ее хозяйственная утварь валилась, билась и уничтожалась.

Между тем, как одни пристали с допросами к Андрию Круку, который зевал во весь рот вместо всякого ответа и, словно опьяненный от сна, качался из стороны в сторону, как качается свитка, перекинутая через жердь в ветряную погоду, другие толкали под бока Семена Ворошила, который приподнимался, взглядывал на них, принимал их то за кума Герасима, то за кума Евдокима и опять падал на лавку, точно подстреленный.

– Это он! Он самый!.. Нет, не он!.. Нет, он!.. – кричала военная ватага, споря между собою и теребя обоих козаков.

– Где хозяин?... Подай хозяина! – кричал, выходя из себя, начальник, по-видимому, ватаги.

– С утра к приятелю ушел в гости, – отвечала хозяйка.

– В гости?... Дам я вам гости! Изменники! Мятужники!.. Что это за люди?

И он, вместо указки, ударил со всего размаху нагайкою прежде Крука, потом Ворошила, и с таким видом подступил к хозяйке, что она подалась назад, как перед расшвирипевшим зверем.

– Знакомые люди, – отвечала она, после этого невольного движения снова одолевая свое смятение. – Они пришли волов торговать у нас, – ждут мужа.

– Так, так, ваша милость, – отозвался Андрий Крук, вставая и отряхивая, по-видимому, последние грезы, – мы пришли волов торговать и не застали хозяина. Что ж, говорю я куму, – вот ему, – объяснил он, указывая на Ворошила, который тоже отряс грезы и смиреннейше поводил глазами по всем лицам, избегая встречи с устремлявшимися то на него, то на Крука со всех сторон взглядами. – Что ж, кум, говорю я ему... Нету, кум, хозяина дома, а?... Нету – так нету. На нет и суда нет...

– Перестань болтать, глупый мужик! Хитрецы! Предатели! Знаем мы вас! Перевязать их! – крикнул он своим, и те в ту же минуту бросились на козаков, словно коршуны.

В это самое время дверь отворилась, и в хату вошел Данило.

– Кто такой? – закричал начальник, бросаясь на него.

– Да когда-то люди здешним хозяином звали, – отвечал Данило.

– Гей! вы! Стоит ли караул около двора? Не дремать! слышите?

– Если ты дорожишь своею жизнью, – начал он, обращаясь к стоявшему перед ним Данилу, – отвечай мне сейчас же без уверток: где мятежник-запорожец? Отвечай прямо!.. Или я тебя сотру в порошок.

Все это было сказано надменно и крикливо. Данило поглядел на стоявшую перед ним довольно тучную фигуру, едва достающую ему по плечо козацкое, и ответил спокойно:

– Не знаю никакого мятежного запорожца!

– Я хату твою испепелю! Я у тебя бревна на бревне не оставлю! Слышишь?

– Ваша воля и ваша сила! – так же покойно отвечал Данило.

– Да не уйдет он от нас! Стоит ли из-за этого горячиться! – сказал другой, тоже, по-видимому, офицер, с самого своего появления усевшийся на лавке и куривший трубку с янтарным мундштуком. – Мы ведь почти с утра не ели! – прибавил он с протестующим, хотя кротким вздохом.

– Что есть съестного? – закричал гневный старшой, внезапно и яростно начиная кидаться из стороны в сторону и нюхать воздух. – Что есть? Подавай сюда! Живо! Подавай!

И он топал ногами и колотил своею саблею по столу.

– Жинка! – проговорил Данило, – поспешай с вечерю.

Хозяйка быстро принялась за сборы к угощению. Глаза ее обежали всю хату, все уголки, будто ища кого-то, и, казалось, некоторая тревога промелькнула на ее бесстрастном лице.

Она искала глазами Марусю и теперь только заметила, что девочка незаметно исчезла во время суматохи.

V

Чудесная, темно-голубая, прозрачная, теплая ночь таинственно звездилась, когда Маруся поспешно выскользнула из хаты, проползла под кровом стелющихся по земле ветвей цветущей калины и очутилась в саду. Тут ее скрыли кудрявые яблони и густые, как сеть, черешни.

Тут она стояла, унимая биение сердца. Каждая ее жилка билась, ноги подламывались под нею, мысли роились и мешались; какие-то сверкающие образы носились перед глазами, а из глаз струились горячие слезы, исторгаемые новою, дотоле неведанною сердечною скорбью, перемешанною с какою-то восторженною надеждою.

Свежий ночной воздух привел ее в себя, наконец, и слезы приостановились, и мысли приняли строй.

Все было вокруг так душисто, и свежо, и цветуще! Все так мило и близко душе! Вся преисполненная любовью и горем, она склонилась и жарко стала целовать травы, цветы, склонявшиеся ветви, обращая туда и сюда глаза свои, выражая всем существом своим и недоуменье, и беззаветную преданность чему-то, не совсем еще ясно усвоенному, уразумленному, но уже поглотившему всю душу.

Легкий шелест между деревьев обдал ее холодом и жаром. Она припала к земле, и ее белая фигурка утонула в белоцветущих ветвях.

Все снова затихло.

Она оставалась некоторое время неподвижна среди этого безгласного сада, под мягким светом и мерцанием звезд, при спокойном благоуханье цветов и трав – все было около нее тихо, и долетавшие со двора восклицанья резко дрожали в теплом воздухе.

Она уже хотела было отстранить прикрывавшие ее ветви, как снова легкий шорох, тот самый, что и прежде, пролетел, и как раз перед нею поднялась громадная фигура сечевика между двух высоких черешен.

Марусино сердце радостно вздрогнуло и, вслед затем, тоскливо и пугливо затрепетало.

Постояв несколько минут, сечевик двинулся дальше – видимо, он пробирался к выходу из сада со стороны реки. Исполинская его фигура была точно тень исполинская, так легко,

так бесшумно и ловко скользила она между густо и тесно свивающихся черешен и кудрявых яблонь: ни шелесту не было слышно, ни колебанья не было видно.

Не отдавая себе отчета, почему и зачем, Маруся пробиралась следом за сечевиком, иногда только приостанавливаясь от сильного сердечного биения и замиранья.

Так они оба минули весь сад, перебрались за ограду из живой вьющейся и ползучей зелени и очутились над рекою.

Река колыхалась в берегах с каким-то беспокоящим ропотом. Прибрежные камыши серебрились во мраке; золотые звезды мигали в волнах и сверкали в небе. У ракиты, потопившей нижние ветви в реке, привязана была лодочка, хрупкая и легкая, как скорлупка. Прилежаний луг, горы – все было преисполнено тишины, теплоты и прозрачной теплой мглы.

Тут сечевик снова остановился, посматривая во все стороны и соображая, как вдруг услышал за собою детский тихий голосок и в ту же минуту почувствовал прикосновение детских нежных ручек. Он обернулся, как человек, которого ничто не в силах ни удивить, ни поразить, и увидел перед собою Марусю.

– А что, дивчина? – спросил он ее так ровно, словно и в заводе не бывало никакого лиха, ни напасти.

Но Маруся не могла вымолвить слова и, только ухватившись за его руку, обращала к нему с мольбою глаза.

Однако эти глаза говорили так красноречиво и много, что сечевик погладил ее по головке. Что-то похожее на ласковую нежность, на сострадательное участие выразилось в его склонившейся фигуре.

– Можно пробраться в Чигирин! – вымолвила Маруся.

– Как же это можно, *дивчино-порадонько*¹? – спросил он, слегка улыбаясь.

– У батька в степи стоит воз с сеном, – проговорила Маруся, – волы пасутся тоже в степи... Я все знаю, где что... Запряжем волов... Ложись в сено... Я повезу до Кнышова хутора... Там река... За рекою уж чигиринская сила!

Сечевик глядел в сияющие глаза, на трепещущую легкую фигурку, стоявшую перед ним, и слушал, как стучит маленькое сердечко. Он вдруг почувствовал, что его мужественное, закаленное сердце словно расплывается в груди и что-то такое чудное с ним сотворилось в тот миг, что и после он никак не мог рассказать хорошенько, а только задумывался, вспоминая.

– Кто это тебе такую мысль подал, Маруся милая? – спросил сечевик.

– А я знаю сказку, – отвечала Маруся, – как девушка от разбойников бежала.

– А расскажи мне эту сказку, Маруся, – сказал сечевик.

– А до Чигирина? – робко спросила Маруся.

– А до Чигирина поедем, – отвечал сечевик, будто сулил ей пряник. – Ведь мы, надо полагать, взявши берегом в эту сторону, проберемся в степь?... Проберемся? Ну, и ладно! А дорогою сказку послушаем.

Рука с рукою они начали пробираться берегом со всевозможною осторожностью.

Сначала до них долетали шум и голоса с Данилова двора, но потом их окружила совершеннейшая тишина, какая только бывает в ночную пору на пустынных берегах вод, когда самые переливы и всплеск волн только увеличивают, а не нарушают безмолвие.

– А ну, рассказывай сказку, Маруся, – сказал сечевик, только что они ступили шаг.

Много тревог, много надежд и страхов волновало Марусю, и она поглядела на сечевика с тоскливым недоумением; сечевик глядел на нее и усмехался. Даже при неверном мерцающем свете ночных светил столько виделось в нем чуткости, мужества, таким чародеем глядел он, что вдруг у Маруси отлегло от сердца и исчезла вся трепетная суетливость.

¹ Слово *порадонько* можно перевести русским *советный друг* [Примітки даються за повною збіркою творів, Саратов, т. II, 1896 (Ред.)]

– Ну, начинай, Маруся милая, начинай! – сказал сечевик. – Я страх как люблю сказки слушать.

VI

Маруся начала:

– Жил был козак и отдал свою дочку замуж.

– Коли за доброго человека, то и с Богом! – заметил сечевик.

– Козачке не полюбилися жених, – продолжала Маруся, – да она покорила батюку, вышла замуж, и молодой увез ее в свою *госпóду*².

– Бедная девушка! – заметил сечевик.

– Только чудная это была *господа* у молодого, – продолжала Маруся. – Стояла она среди дремучего лесу, и никуда дорог не было битых, ниоткуда никто не показывался – пустыня кругом. Очень затосковала молодая...

– Еще бы не затосковать! – заметил сечевик.

– И сначала ни на что она не глядела – все горевала, а потом с горя ко всему стала приглядываться и присматриваться... Все роскоши... только ей не нужны были роскоши, а захотелось ей узнать, куда муж ее всякий вечер уезжает с товарищами. Но как только они сядут на лошадей, так сейчас и пропадут в чаще, только минутку слышен конский топот, а потом все тихо и глухо...

Ходила она по всему дому, и от всего дома были у нее ключи. Только никогда муж не пускал ее в один погреб. Погреб этот стоял под густыми разметными дубами; дверь чернелась из-под зеленой листвы, точно звериная пасть.

– Что они такое прячут? – подумала молодая.

Подумала и сейчас к погребу. И видит на засове такой замок, что десятерым его не поднять.

Постучала в дверь, словно в камень – так глухо. Поглядела в щелочку – черно, как в колодце.

Вдруг из-под порога что-то блеснуло, как искорка. Она прилегла на землю. Что-то блестит!

– Что это такое? – думает она.

И хоть страшно, а просунула руку и схватила. Чует что-то холодное. Глядь, а это отрубленный беленький мизинчик и на нем колечко.

– Дозналась я, – думает молодая, – ездят они на разбой.

А молодой был такой ласковый...

– Поди-ка узнай людей по виду! – сказал запорожец.

(А между тем ночь уже светлела. Передутренный ветерок пролетал по степи. Они все шли понад тихими берегами рука с рукой).

Стала молодая думать, что ей делать; так думала она, что у нее в голове шумело, словно у мельничного колеса. Кругом все чернели леса, такие сплошные, точно стены. Пустыня такая со всех сторон, что в ней только потеряться, а ни приютиться, ни выбраться в жилой мир.

Куда бежать?

Долго она думала и передумывала. Солнце уже закатилось, она все думает. Звезды высыпали, а она все думает.

И слышит: едут!

Входит муж и рад ей.

– Я по тебе скучал! – говорит.

² Госпóда – усадьба.

Протянул к ней руки, а она видит – на рукаве у него кровь!

– Что это на рукаве? – спрашивает.

– А это я охотился за красным зверем, – отвечает и смеется.

Услыхали товарищи и тоже засмеялись.

Поглядела она на мужа – был он ей нелюбый, а теперь еще стал и страшный.

Поглядела она на его товарищей – ни одного хорошего лица нет!

Подумала, каково это жить с ними, и забыла все другие страхи, и положила убежать!

– Убегу, куда глаза глядят!

Сечевнику очень нравилась сказка: какие важные дела ни заботили его голову, он так глядел на Марусю и так улыбался, точно его сладким медом поили.

– Только дождалась, что все выехали из дому, сейчас она наглухо позатворяла и ворота, и двери, и окна и пустилась бежать по лесу.

Ни дорог, ни тропинок, никакого следа не было, только вечерняя звезда ей светила, и по ней она путь держала.

Целую ночь она все шла да шла, а лес все гуще да гуще, все сплошней да сплошней.

Вот чуть-чуть забрезжилась утренняя заря, и тихо-тихо пробирались в лес алые полоски. Она уже подумала, что с зарею ей веселей станет, как вдруг слышит, за нею погоня, и все ближе, все ближе. Ветки трещат, кони фыркают, мужнин голос грозит: найду! и его товарищи переговариваются: вот тут она! вот там она!

Поглядела она туда и сюда – нет нигде приюту!

Только одно дерево стоит косматым шатром; она поскорей кинулась к тому дереву, взобралась на самую верхушку и притаилась.

Да в поспехе она уронила платок с шеи, и как погоня ворвалась на это место, сейчас они все и увидели белый платок на земле...

– Ай-ай! – сказал сечевик с живостью.

– Сейчас все закричали: «Ее платок! ее платок! она тут! она недалеко! она в эту сторону бежит!»

И начали искать, шарить, саблями ветви рубить, конями кусты топтать.

А муж и говорит: «Не забралась ли она куда на дерево?» Схватил свою пику и со всей руки почал ею колоть промежду ветвей.

– Ай-ай! – сказал сечевик. – Бедная молодлица! натерпелась же она лиха!

Вдруг острое копьё вошло ей в бок, потом попало в руку, потом тронуло плечо – она не вскрикнула, не ахнула, да теплая кровь так и закапала, так и закапала с дерева...

Сечевик совсем разжалобился над бедною молодницею; охи и ахи его были самые жалостливые.

– Капельки ее крови попали прямо на голову мужу. «Ох, какая теплая роса каплет с этого дерева!» – сказал.

– Видно, она пробежала дальше, – говорят ему товарищи. – Дальше в погоню за нею!

И все рассыпались между лесною гущиною. А она тогда тихонько слезла с дерева и опять пустилась бежать.

Долго она бежала, очень долго, и выбежала на дорогу, и видит, едет по дороге старый козак и везет воз с сеном. Кинулась она к козаку и начала его просить: «Возьми меня, добрый человек, схорони меня где-нибудь! За мною погоня! Меня поймать и убить хотят!» – А козак ей говорит: «Да вот я везу сено; ложись на воз, закопайся поглубже, да только лежи смирно!»

– Бравый козак! дай ему Боже здоровья чорзнапоки!¹ – сказал сечевик с удовольствием.

– Только успел старый козак закопать ее в сено да махнуть на волов батоном, а тут и наскочила погоня.

– Не видал ли молодлицы? – кричат козаку. – Куда она побежала?

– Не видал, – отвечает козак.

– А что ты везешь?

– Сено везу.

– Хорошее сено у тебя? А ну, удели-ка немножко нашим коням.

Козак остановил воз и накидал сена их коням.

– А у тебя, кажись, люлька не погасла? – спрашивает один разбойник.

– Нет, курится еще, – отвечает козак.

– Дай-ка раскурить.

Козак подал им свою люльку, и они начали друг дружке ее передавать да свои раскуривать.

А атаман ни люльки не раскуривает, ни коня своего не кормит, подошел к возу и прилонил к нему свою грозную голову, да все только глухо твердит: «Найду я ее! найду!»

А она все это слышит и даже его горячее дыханье чувствует.

Так время шло долго, пока товарищи закричали:

– Атаман! на коня! на коня! Уж день белеется!

И все они кинулись на коней и ускакали в темный лес...

А старый козак поехал дальше и довез молодицу до батькова двора.

– Пусть служит ей доля! – сказал сечевик. – Чудесная сказка, Маруся милая, и великое тебе спасибо за нее! Славная, славная сказка! Такая славная, что и не выразить словом!

Чёрт знает, до коих пор

VII

Они ни на минуту не убавляли быстрого шагу и успели уже далеко уйти.

Заря еще не занималась, но мягкий, теплый ночной воздух уже посвежел; из далекого, невидного за неясными очертаниями дальних лесов, монастыря разносился слабый благовест; какой-то особый тихий звон пробежал по прибрежным камышам, и река, залившись далеко в мягкий берег сонною струею, возвращалась оттуда, словно внезапно разбуженная и взволнованная, катилась вперед и бурлила беспорядочно и шумно, потом все более и более унимала порывы волн и брызги и исчезала из глаз с глухим ропотом.

У этого залива они повернули.

Ни дороги не было, ни тропинки, но Маруся хорошо знала места и скоро вывела сечевика в чистую степь.

На них пахло сильным, крепким, трезвым ароматом свежескошенных степных трав и цветов от огромных, разбросанных по степи стогов сена; сечевик пристально оглянулся во все стороны. За собою невдалеке он увидел в полутьме жилые строения, укутанные в сень густых деревьев.

– Это наша хата, – сказала ему Маруся. – Загородь близко – впереди.

– Веди, Маруся, – сказал сечевик.

И хоть нигде поблизу не видно было и признака никакой загороди, он, нимало не сомневаясь, зашагал по легким следкам Маруси.

Не успели они сделать пяти шагов, как Маруся промолвила: «Здесь!», и они очутились над чем-то вроде обширной впадины посреди ровной степи, спустились в нее, и на самом дне сечевик разглядел вербовую загородь, а в ней две пары величавых круторогих волов, представлявших крутыми холмами на ровной поверхности.

Маруся отворила загородь и дрожащею рукою слегка погладила прежде одну, потом другую рогатую голову. Легкое ласковое мычанье было ей в ответ, и, будто уразумев, что самое главное теперь осмотрительность и тишина, волы, выведенные из загороди, пошли по степи, как тяжелые ладьи по тихим волнам – бесшумно, ровно и быстро.

Воз стоял неподалеку у стога, доверху уже наваленный сеном.

– Что? – спросила Маруся, видя, что сечевик остановился и глядит на нее.

– Какая же ты малая, Маруся! – промолвил сечевик. – Какая же ты малая! Всякий тебя скорее примет за степного жаворонка, чем за деловую особу!

И вправду Маруся не велика была, а среди безбрежной степи, у громадного воза, запряженного мощными волами, подле исполинского сечевика она казалась еще того крохотнее, еще хрупче и еще незащитней.

– А вот мамин большой платок забыт у воза, – ответила Маруся. – Я его надену по-старушечьи и как сяду на воз, то покажусь старушкой...

И уже ее большие глаза глядели на сечевика из-под старушечьей повязки, под которой исчезла кудрявая светло-шелковистая головка и розовые плечики.

Сечевик не мог не улыбнуться и несколько минут не мог или не хотел промолвить ни одного слова.

Голос его был очень тихий, когда он снова заговорил:

– Ты хорошо знаешь шлях, Маруся?

– Знаю. Все прямо до озерца, а у озерца шлях повернет вправо и уже виден будет хутор пана Кныша, а за хутором уже вольный путь до Чигирина, сказывал пан Крук батьку...

– А ты знаешь пана Кныша?

– Знаю. Он ездит к батьку, разные разности покупает.

– А как он тебя, думаешь, примет?

– Не знаю, как меня примет.

– А как худо?

– Но он ведь не изменит?... – и ответила и вместе спросила Маруся. – Он к батьку ходит... он приятель...

– А знаешь, Маруся, что теперь повсюду войска стоят, всюду враги шатаются? Знаешь, Маруся, что теперь, вместо цветов, должно быть, по обеим сторонам дороги дым клубится от стрельбы? Резня идет!

– Знаю! – отвечала Маруся.

– Будут глядеть недобрые вражеские глаза тебе в лицо, и если ты собьешься в одном словечке, если только дрогнешь – все пропало!

– Я не собьюсь в слове, не дрогну... Я не боюсь врага, а только боюсь неудачи.

– Маруся, знаешь, может, смерть нас постигнет...

– О, прежде до Чигирина тебе добраться! – промолвила Маруся.

И столько мольбы и решимости прозвучало в ее тихих словах!

На этом разговор у них прервался. Волы быстро были запряжены.

– Маруся, – сказал сечевик, – если кто тебя остановит, не падай около воза, как пташка около гнездышка... разумеешь?

– Разумею! Надо быть, как ты.

– Всем говори, что везешь сено пану Кнышу, а коли благополучно доберемся до Кнышова двора, то ты скажи тому, кто выдет навстречу: «Чудесные зелены у вас, хоть и неспелыми жать – так хорошо!» Слышишь?

– Слышу, – ответила Маруся.

Сечевик зарылся в громаду сена, наваленного на возу, Маруся заняла место возницы, волы тронули, и воз, пошатываясь и переваливаясь, потянулся по росистой степи.

Звезды уже начинали меркнуть; ветерок стал живее, и капельки росы виднее заиграли по траве.

VIII

Тихо подвигался огромный воз по степной дороге; при свете меркнувших звезд мерцала степь, недавно скошенная и уже густо и мягко застлавшаяся новыми травами и цветами, усыпанная еще неувядшими стогами пахучего сена. Тихо подвигался огромный воз по дороге. Тихо было кругом, и два-три далеких крика, два-три далеких выстрела еще больше давали почувствовать эту тишину.

Перед Марусею вид расстилался во все стороны широко и далеко. Каждый легчайший звук уловляло ее чуткое ушко: и самонаименьший шорох трав, и шелест птичьих крылышек, и безустанно ее глаза обращались во все стороны и следили за каждой точкой.

Во тьме летнего рассвета неясно видно было ее личико, ничем не выражала она своих мыслей, ни чувств, но вся фигурка ее на высоте косматого зеленого воза говорила о ее неуспяной бдительности, о ее томительной тревоге.

Вдруг послышался топот многоконного отряда; справа показалась толпа верховых и неистово неслась прямо к Марусиному возу.

Несколько диких, охрипших голосов издали закричали ей:

– Стой! Стой! Она остановила воз.

Мгновенно ее окружили, и грубые вопросы на чуждом ей наречии посыпались со всех сторон:

– Куда?... Откуда?... Чья ты?...

– Из хуторка, – отвечала Маруся. – Данила Чабана дочка. Везу сено в хутор Гоны, к пану Кнышу.

Успокоенные всадники раздались немного, и сиплый голос сказал с досадою:

– Ведь я же говорил вам, что фальшивая тревога, а вы полошиться, как степная птица! Ну, где ж ваши польские шпионы?

– Да ведь никакой беды не случилось оттого, что мы проскакали полверсты в сторону? – возразил на это другой голос, явно принадлежавший молодому, подвижному и беспечному человеку.

– Когда в голове ветер ходит, так все не беда! – с неудовольствием проворчал первый.

Остальное ворчанье заглушил свист взмахнутой нагайки и топот рванувшегося вперед коня.

– Эх сердитый какой! – промолвил второй голос с легким смехом. – За мной, ребята. Воз захватите!

Отряд двинулся, и под его прикрытием двинулся Марусин воз.

Куда девочка ни обращала глаза, со всех сторон она видела около себя мрачные, злобные фигуры, грубые, суровые лица; все ехали шагом и словно предавались отдохновению, погружившись в свои мысли и думы и на время отбросив свои сторожкие наезднические приемы. На иных лицах выражалось уныние, на других забота, или неугомонная отвага, или усталое равнодушие ко всему на свете.

Впереди гарцовали два офицера и, казалось, спорили.

Не слыша их слов, Маруся угадала веселого молодого по его живой, подвижной осанке, по его быстрым, словно дразнящим, движениям около недовольного тучного товарища, казавшегося тяжелым чугунным слитком, мучительно подавлявшим нетерпеливого, горячего коня. Стараясь не проронить ни одной фразы, которыми изредка перебрасывались между собою в отряде, Маруся старалась тоже угадать, о чем спорят впереди гарцующие начальники – не об ее ли возе! Или они забыли о нем? И что будет дальше? И как ее встретит пан Кныш? И доедет ли она до пана Кныша? И удастся ли добраться ему до Чигирина?...

Тихо раскачиваясь и разваливаясь, подвигался воз. Последние ночные тени уже готовы были исчезнуть; предрассветная трезвая, проникающая свежесть уже чувствовалась; важные волю выступали теперь бодрее, муштрованные лошади, не изменяя привычного военного шага, жались ближе к возу и, вытягивая головы, с наслаждением выдергивали клоки пахучего сена.

Вдруг что-то заставило Марусю невольно обратить устремленные вдаль глаза налево, и она встретила испытующий, пронизательный взгляд других сверкающих глаз – взгляд, следящий за нею со вниманием и сомнением.

Около самого воза, касаясь его, ехал пожилой всадник. Глаза девочки, привыкшие к полутьме, хорошо различали каждую резкую черту его живого, смышенного лица. Он пристально глядел на нее, и без слов понятно говорил его взгляд: странна, однако, эта маленькая девочка! Чуден и тот, кто выбрал возницею эту хрупкую игрушку, возницею среди ночи, в смутные, ненадежные военные времена!

– У тебя, девочка, родной отец-мать или нет? – спросил он внезапно у Маруси и, видя, что она не понимает его слов, ломаным украинским языком перевел ей свой вопрос.

– Родной отец и родная мать, – отвечала Маруся.

Его взгляд впился в нее еще с большим сомнением и сделался еще пытливее и пронизательнее.

Марусе показалось, что какой-то ледяной покров обвил все ее члены и холод проник ей до самого сердца. Степь перевернулась у нее в глазах, словно небо в бурливых водах, и голова закружилась, но она помнила наказ сечевика и, желая быть как он, вымолвила ровным, хотя потерявшим все живые нотки, голосом:

– А у вас живы отец-мать?... Много у вас родичей?... Есть у вас дети? Дочки или сыновья у вас?...

Тихий ли сдержанный голосок, или простой вопрос разбудил заглушенные радости и сердечные печали, только сильно они проснулись и испытующее, наблюдающее лицо, исполнившее Марусю томительною тревогою, сделалось каким-то игралищем то омрачавших его теней, то освещавших его проблесков: воспоминанья, образы, сожаленья, опасенья, надежды, казалось, душили сильного человека, подступая живыми терзающими приливами. Странно смотрели теперь на Марусю эти подозрительные, прежде испытующие глаза, будто ища в ее образе какого-то другого, далекого образа, заставлявшего, может, когда-то улыбаться теперь дрожавшие губы.

– Да, у меня есть дочка, – проговорил он после долгого молчания.

– Большая? – спросила Маруся.

Он усмехнулся. Должно быть, перед его духовными глазами пронеслась очень маленькая, непрочная, хрупкая фигурка, судя по его несколько томительной улыбке.

– С тебя, коли еще не меньше, – ответил он и очень задумался.

Впереди гарцовавшие офицеры все спорили: одному не надоело подзадоривать, другому не опостылело ворчать; казалось, каждый поставлял в том свою забаву среди незанятой, дикой, скучной жизни.

Вдруг в задних рядах отряда кто-то вполголоса запел: «Вспомни, вспомни, моя любезная, нашу прежнюю любовь!», и Маруся, у которой каждый звук заронял вереницы видений о Чигирине, о пане гетмане, о н е м, вся содрогнулась при звуках глухого, мощного голоса пожилого всадника, ее допросчика, тихо про себя подхватившего запетую песню. Пенье скоро перешло у него в какой-то страстный, горький шепот, между тем как запевало, видимо, увлекаясь, разливался все громче и такими волнами грусти и беспечности, сожаления и удалства, что мучительно задирали за живое. То тот, то другой голос подхватывал песню; наконец, все голоса дружно ее подхватили и слились в один гул, перекатами разносившийся по степи.

Когда песня стихла, вдруг заметили, что рассвело, точно рассвет выступил из-за внезапно распахнутой двери, а не разгорался мало-помалу. Невдалеке от дороги видно было тихое,

небольшое озеро, накинутое, словно дымчатою пеленою, утренним туманом; от озера вправо вилась мягкая черная дорога к хутору, над которым стояла тонкая прямая струйка дыма.

Это виднелся хутор пана Кныша.

Жутко было в полутьме теплой ночи, в полутьме утреннего рассвета, но при засиявшем блеске благодатного утра еще стало жутче. Веселое великолепие природы как-то чудно действовало на душу, то растравляя ее, то смиряя, то исполняя каким-то двухсторонним чувством – страха и надежды, которые схватывались и боролись, не одолевая друг друга, как борются между собою равно сильные и не сливающиеся огонь и вода.

Маруся искала глазами пожилого всадника, который отъехал от нее и замешался в толпу других, и ее глаза скоро отыскивали его и встретились с его глазами. В его взгляде не было уже ни пытливости, ни пронзительной наблюдательности, – какая-то нерешительность, какое-то недоумение и опасение разлились по всем чертам его резкого, хищного лица и странно его смягчили.

– Господи ты Боже мой! экая мелкота! – сказал один из отряда, увидав Марусю при свете утра. – И едет себе как ни в чем не бывало: ни пороху, ни пули не боится.

– Да этакую малость ни одна пуля, надо полагать, не возьмет, – возразил другой. – Все одно, что маковое зерно!

– У них и девчонки не боязливы, – это уже такой народ, – вмешался третий. – Я, скажу вам, видал, что во время самой свалки, кровь хлещет, земля дрожит, и рубят, и мрут, а она себе ходит промежду да подбирает своих, словно по саду ягоды, ей-богу!

– Да и пропадает же их сколько! – сказал еще присоединившийся собеседник.

– Да все мы пропадем так или иначе, – ответил кто-то сбоку. – В том только и дело, чтобы пропасть самым лучшим манером! Вот что!

Издали пронеслось несколько выстрелов, и их звук, словно волшебством, в одно мгновение спугнул все иные мысли, все прочие чувства: овладевшее было раздумье, начатое рассуждение, полувывраженное мнение, невысказанное возражение, – все это прервалось, как перехваченная острыми ножницами нитка, и весь отряд вдруг превратился как бы в одно существо, чутко настрожившее слух и готовое к отпору.

Офицеры тоже приостановили своих лошадей и перестали спорить и дразнить друг друга.

Выстрелы раздались снова.

– Это с нашей стороны! Нет сомненья, это с нашей стороны! – вскрикнул молодой офицер.

– Марш-марш! На выручку! Это наши дерутся! Гей, Иван, доставь воз до хутора и распорядись... Вперед!

Маруся еще не успела сообразить хорошенько, в чем дело, как уже отряд ускакал вихрем, и скоро исчезли из виду все, кроме Ивана, которому отдан был приказ «доставить воз и распорядиться». Словно дикие птицы, без оглядки все они снялись и улетели, только пожилой солдат, говоривший с нею, обернулся и еще раз глянул на нее.

– Трогай, трогай, каплюха! – проговорил Иван, раскуривая коротенькую трубочку.

Маруся поглядела на Ивана. Он ей представился чем-то вроде ежа.

– Трогай! трогай! – повторил он суровее.

Воз подвигался понемногу вперед, к Кнышеву хутору; замелькали засеянные, но местами жестко вытопанные, выбитые поля; выстрелы долетали все чаще и чаще, и, незаметно поднимаясь на отлогую могилу³, через которую вилась вдаль дорога, Маруся завидела какие-то палатки и шатры, над которыми вились клубы черного дыма и вырывались время от времени огненные языки красного пламени. Иногда по звонкому утреннему воздуху слабо доносились

³ Могила – курган.

людские крики и стоны, чуть явственное жалобное мычанье домашних животных, и детский плач, и смешанный крик домашних птиц, и треск падающих развалин жилищ.

Поднявшись на самую вершину могилы, Маруся, как на ладони, увидела вдали место самой битвы. Она увидела пылающую деревню, две детские фигурки, бежавшие, схватившись руками, в испуге и ужасе, сами не зная куда, различила несколько неподвижно распростертых по степи женских фигур; на ее глазах падали люди со стоном, мчались испуганные лошади без седоков, редели свирепые отряды, устилалась земля трупами и ранеными, трава, смачиваясь теплою кровью, темнела. Небо принимало какой-то зловещий багровый оттенок. Пороховой дым ходил волнами.

А прямо перед нею зеленел и благоухал хуторок пана Кныша, и воз тихо к нему подвигался все ближе да ближе. В чащах густого сада уже обозначались разнородные деревья и кустарники с своими узорчатыми листьями и цветами; в открытые ворота она распознала темно-желтых, пестрых кур, расхаживающих по широкому двору, заросшему мягкой бархатистою муравою и преисполненному всевозможных хозяйственных орудий и снарядов; у ворот сидела громадная, косматая собака; она уже завидела подъезжающий воз и ждала его хладнокровно и бдительно, как особа, вдоволь уже повидавшая в жизни и давно взявшая себе за правило не спешить с выражениями своих чувств.

IX

Только что воз остановился у ворот, как перед Марусею очутился орленкообразный мальчик лет пяти, румяный и мощный. Будь он вправду степным орленком, он и тогда не мог бы ни быстрее налететь, ни устремить на Марусю смелее взгляда, ни мгновеннее обозреть и ее, и воз, и волов.

- Дома пан Кныш, хлопчик? – спросила Маруся.
- А вы приехали к деду в гости? – спросил хлопчик вместо ответа.
- К деду; дома дед?
- Дома.
- Где ж он?
- Он в саду, а может, в хате, а может, на толоке.
- Покличь деда, хлопчик.

Но дед уже подходил к воротам.

Несколько сторбленный, простодушный старичок в сельской полотняной одежде, в рубашке и в широких шароварах, в соломенной шляпе.

Он почтительно поклонился прибывшему к нему воину и тотчас же узнал Марусю, – и нисколько не показал удивления при ее виде, словно ее ждал, словно такое посещение было самым пустым и обычным делом.

– А, дивчина малая! – сказал он, – все ли здорова, все ли весела? Милости просим в хату, а коли в хате соскучишься, то вот Тарас знает, где водится земляника и где спеет малина. Можно тоже развлечься пампушками или маковниками. Тоже имеются пироги в запасе, – такие пироги, что утешат голодную душу.

Иван услышал слова *маковники, пироги*.

– У тебя, кажется, дом не без запасов? – промолвил он суровым голосом, но в котором уже звучала нотка, смягченная представившимися видениями пирогов и других яств.

– Благодарю моего Создателя! – отвечал хозяин, – милости прошу, пожалуйста в хату!

Что это за радушный, что это за простосердечный, что это за бесхитростный, казалось, был хозяин пан Кныш!

– Пожалуйста, дорогой гость... не ждал, а Бог и послал... и послал!.. Вот неожиданный, да зато дорогой гость... Пожалуйста, пожалуйста...

«Нежданный, но дорогой гость», усталый и голодный, отложил все разговоры и объяснения и пошел за хозяином, расправляя измученные члены, позевывая, почесываясь, одним словом, пользуясь редким случаем понежиться телом и духом, решив, бесспорно, что хозяин простак и добряк-мужик, и только заботясь о том, что это за пироги у него, что за яства и за питья.

Маруся въехала во двор и тоже пошла за ними, а за Марусею хлопчик Тарас.

– Пан Кныш! – сказала Маруся, – что за чудные зеленыя у вас! Хоть и неспелыми их пожать, то все хорошо!

– Слава Богу, дивчинка, слава Богу! Нынешний год все хорошо уродило! – отвечал пан Кныш, не обертываясь.

И хоть бы сколько-нибудь дрогнул у него голос, или повысился, или понизился, хоть бы сколько-нибудь встрепенулась его фигура, ускорился или замедлился мелкий, спешный шаг, хоть бы крошку изменился в чем-нибудь его вид домовитого хозяина, немножко тщеславного своими пирогами, с тайным торжеством спешащего угостить и наперед уже лукаво усмехающегося при виде приятного изумления гостя на первом куске его яств, которые, казалось, ставил он выше всего на свете.

– Что же это? он не понял?

У Маруси страшно заныло сердце; она не знала, что думать и как быть, и решила опять то же: быть как он.

Поэтому она больше ничего не сказала и вошла в хату.

Это была просторная, прохладная, снежно-белая хата, с широкими лавками, со столом под белой скатертью, с глиняным полом. На стенах местами висели пучки полуувядших душистых степных трав; в углу за образами, под белым рушником, тоже висели травы и мешались с сухими прошлогодними цветами, со свяченою вербою и *зеленосвятковым зильем*⁴.

1

Хозяин просил садиться и, по-видимому, единственно погруженный в заботы угощения, единственно поглощенный тщеславным желанием не ударить лицом в грязь и показать свое хозяйство в лучшем виде, суетился, собирая на стол, бегал в погреб, рылся в коморе, гремел посудой, ронял ложки, переливал какие-то бутылки, лазил под крышу за копченою колбасою и всеми этими усердными хлопотами держал в постоянном ожидании голодного гостя и обращал все его помыслы только на эти хлопоты и их лакомые последствия, внушая ему признательность, смешанную с досадой и нетерпением, которые, однако, не пересиливали ее.

– Да ты, хозяин, уж так не падай для меня! – говорил время от времени гость.

– Нельзя... нельзя... позвольте... позвольте, пан... как зовут вас, добродию? – отвечал усердный хозяин.

– Да меня зовут Иваном, – отвечал тот со вздохом и смиряясь.

– Уж позвольте, пане Иване, угостить вас, чем Бог послал. Уж позвольте!

– Мы люди военные, мы не сластоежки ведь – нам лишь бы сыт, и довольно! – в свою пользу старался внушить пан Иван.

– Нет, нет, уж вы позвольте! – отвечал хозяин.

Маруся сидела на лавке, стараясь *быть как он*, на вид спокойная и тихая, но такие приливы и отливы надежд и страхов она испытывала, что никто того рассказать словами не сможет, да и редко кто сможет себе вообразить.

Хлопчик Тарас, вволю наглядевшись из угла на гостей, смотрел в окно и считал явственно долетавшие до хутора выстрелы.

⁴ Травы и цветы, которые святятся на Зеленые святки, т. е. на Троицын день.

Наконец, завтрак был окончательно собран; пан Иван после долгого ожидания накинулся на него с некоторым враждебным чувством и с суровым видом воина, не ценящего наслаждений вкуса; но скоро, очень скоро, он как-то весь смягчился, даже проникся некоторым умилением, а после нескольких чарок разных наливок глаза у него посоловели и начала блуждать неопределенная улыбка на устах.

Хозяин время от времени припоминал о какой-нибудь новой, хранившейся у него сласти, и то ходил в погреб, то лазил под крышу, спрашивая наперед позволения у пана Ивана.

А пан Иван уже не возражал, а только кивал ему головою в знак того, что ему это кажется хорошо и что он на все согласен.

– А ты что, Тарас, галок считаешь? – сказал хозяин внучку, – пошел бы ты да сена дал волам. Это у меня такой работник, что лучшего и не надо, даром, что еще не до неба дорос! – прибавил он, обращаясь к пану Ивану.

На это пан Иван хотел отвечать что-то серьезное, но серьезного не ответил, а только слабо и неопределенно улыбнулся.

Тарас сейчас же спрыгнул с лавки и пошел к дверям.

Маруся не смогла выдержать муки, тоже встала и сказала:

– И я пойду с Тарасом.

– Иди, иди, малая, – ответил ей хозяин, и когда она проходила мимо него, он погладил ее по головке – только погладил по головке и словно каким волшебством возвратил ей уверенность и бодрость.

– Хозяин! – вдруг сказал пан Иван, с отчаянным усилием собирая мысли и уясняя дело, – сено наше... взято сено в плен... давай выкуп... большой выкуп давай... это хорошо... очень хорошо...

– Ваша воля, пан Иван, – отвечал хозяин. – Хоть сено, хоть выкуп берите, ваша воля!

– Ну, это хорошо, – отвечал пан Иван. – Это... это хорошо...

Х

Вышед во двор, Маруся увидела свой воз на прежнем месте; Тарас таскал из него охапками сено и подкладывал волам, а волы важно, с достоинством принимали должное угощение.

С тайным трепетом ходила Маруся около воза, стараясь угадать то, что ее мучило.

Долго она так кружила, как раненая птичка над заваленным гнездом; Тарас, сделав порученное ему дело, заговаривал с нею о том и о другом, но она отвечала ему кратко – все ее существо было поглощено заботою, тревогою и упованием.

Сообразив, что это круженье около воза может навлечь подозренье, она удалилась от него и стала бродить по широкому двору; она заглянула в густой сад, посмотрела вдаль на поле.

– Что делать? Что будет? – думала она.

Вдруг, проходя мимо груды камней, наваленной во дворе, она услышала голос, явственно промолвивший:

– Спасибо, Маруся малая! Не бойся ничего, все благополучно!

Она в то же мгновение узнала этот голос и, пораженная радостью, как стрелою, вдруг восхищенная и обессиленная внезапно отлетевшими муками и тревогами, зашаталась, чуть не упала и села на землю, не имея сил ступить дальше шагу.

Понемногу она пришла в себя и внимательно разглядела место; груда камней, у которой она сидела, видно, была навалена здесь очень давно, когда строился погреб, каменною отдушиною выходивший во двор, и камни, оставшиеся от постройки, с той поры, очевидно, не трогались, потому что они проросли травой и крапивою по всем извивчивым направлениям.

– Не ослышалась ли я? – подумала Маруся, вся замирая от томления.

Но голос, выходя из-под земли, прозвучал снова:

– Верная моя девочка! Развесели свое сердечко! Переплыли мы самую быструю, на берегу, Бог даст, не потонем!

Маруся долго оставалась недвижима, все еще прислушиваясь. По его слову, как по волшебному велению, сердце ее исполнилось живою радостью, и потому на лице заиграл такой яркий, счастливый румянец, очи так засияли и засветились, что Тарас, гарцовавший по дедовому двору, то в гордом виде гетманского коня, то в грозном виде самого гетмана, то в личине храбрых козацких вождей и полковников, то, наконец, разгоряченный представляемыми им прекрасными и славными ролями, необузданно предаваясь прыжкам и скачкам в собственном своем виде, очутившись перед чужою девочкой, поражен был преобразившею ее переменою, остановился перед нею в некотором недоумении и устремил на нее свои орлиные взгляды.

– Что ей дед дал? – подумал он. – Что?

Перед ним замелькали и заносились какие-то неясные виденья смачных маковников в меду, сластен, пряничных коней, каленых орехов и прочих благ. И чем больше глядел он на чужую девочку, тем виденья эти становились фантастичнее, заманчивее, а вместе с тем все более раздражали и волновали его. Недоумевающий, чающий, он стоял и глядел, более чем когда-либо подобный хищному орленку, расправившему крылья, наострившему клюв, зорко оглядывающему оком, в какую сторону лететь на добычу.

Он весь вздрогнул, когда Маруся заговорила:

– А что, хлопчику, пойдем, может, мы с тобою в садок?

– Пойдем, – отвечал он с некоторым колебанием, как человек, который еще не уверен, выиграет ли он от этого или проиграет. – А что дед дал?

– Кому? – спросила Маруся.

– Тебе?

– Ничего.

– Так пообещал? Что пообещал?

– Ничего.

Тарас поглядел на гостью пристально и недоверчиво.

– Чего ж так рада? – спросил он.

– Я?

Она хотела было сказать: «Я не рада», но не могла и сказала только:

– Пойдем в садок.

И они пошли в садок, и гуляли там, и рвали ягоды, и рассуждали о разных разностях.

Хлопец Тарас рассуждать был охотник; особенно рассуждать о том, как бы он то или другое устроил на месте пана гетмана, и уж конечно, не счесть никому, будь он хотя и звездочет, сколько на словах перекрутил он разнородной не виры, сколько городов обеспечил, сколько сел и деревень обогатил. Речи хлопца Тараса были заманчивы в этом случае, как мед; впрочем, глядя на него, можно было уверенно положить, что и дела его не будут полынью.

Я не знаю, много ли есть на свете вещей лучше прогулки по душистому, свежо благоухающему, густому саду, когда сердце играет и все ваше существо после жгучего ожидания и томительного сомненья точно смеется! Дай Бог погулять так всякому доброму человеку хоть один раз в жизни!

Так гуляла Маруся, следя за Тарасом по всем углам и закоулкам сада и толкуя с ним о том и о сем.

А Тарас, водя гостью по саду, угощая ее ягодами и занимая разговорами, все-таки, время от времени взглядывал на нее с сомнением и никак не мог отогнать от себя тех неясных, заманчивых видений таинственных маковников, бубликов, сластен и всяких других с мак о в, где-то близко сущих и являвшихся перед ним всякий раз, как только обращалось к нему сияющее личико гостыи.

XI

А солнце, между тем, высоко взошло, и сияло, и играло так, что нигде почти тени не было, а если где и отыскивалась, то все-таки ее как-нибудь да пронизывал, как-нибудь да пересекал, как-нибудь да задевал солнечный луч. Его теплый и яркий свет наискось пал в хатнее окно, под которым уснул насыщенный пан Иван, и, должно полагать, своею мягкостью и теплотой разбудил его, непривыкшего или даже уже отвыкшего от всякой мягкости и теплоты на белом свете.

Пан Иван хоть проснулся, но некоторое время не открывал глаз, а только вздыхал и как-то жалобно усмехался. Эта усмешка точно хотела сказать: ведь я знаю, что всей теперешней неги и след простынет, как только я открою глаза; ведь я знаю это и понимаю!

Но вдруг он вскочил, как обожженный, лицо приняло обычное равнодушно-суровое и даже несколько враждебное выражение, и, проворно оправляясь и собираясь, он недоброжелательно оглядывал белые стены, по которым играли веселые солнечные лучи.

Никого не было в хате; он крикнул громко и отрывисто:

– Эй, хозяин!

Зычен был голос у пана Ивана и раскатился по двору во все концы. Маруся и Тарас бросились к хате и, притаившись за цветущими кустами сирени и калины, ожидали, что будет.

Все было тихо кругом, и ничего не было слышно, кроме шума и движения летнего погожего дня.

Пан Иван крикнул снова, громче и отрывистее прежнего:

– Эй, хозяин! Али уши заложило?

И совсем прибравшись в дорогу, в шапке и прилаживая половчее пику, пан Иван толкнул хатнюю дверь каблуком сапога, распахнул ее настежь и приостановился, не зная, куда лучше итти: сени были сквозные, и с обеих сторон по мураве разбежались тропинки, и там и сям стояли разные сельские снаряды. С третьей стороны полуотворена была дверь в светлицу.

Но уже слышался приветливый голос хозяина в ответ на зов, голос, прерываемый легким, вовсе не неприятным кашлем и быстрою спешною походкою.

– Иду, пане Иване, иду! – приветливо и радушно звучало издали.

Но пан Иван никак не мог уловить, откуда голос приближался, и понапрасну, повертев шею туда и сюда, нетерпеливо двинулся в какую дверь попало и лицом к лицу сошелся с ласковым и запыхавшимся хозяином.

– Хорошо ли отдохнули, пане Иване? – спросил хозяин, участливо и простодушно глядя в недовольные глаза гостя. – Не кусали мухи?

– Черт с ними, хоть бы и кусали! – отвечал пан Иван, чувствовавший себя что-то неладно после отдыха и сна.

– Конечно, прах им, пане Иване, конечно, – отвечал хозяин, охотно присоединяясь к выраженному мнению гостя, и между тем, как гость на минуту призадумался, сурово и раздражительно покручивая усы, он тоже, подумав с минутку, прибавил:

– Однако, скажу вам, часом в самый этак смак любого сна, обидно бывает доброму человеку от этой дряни...

– От какой? – спросил пан Иван, выходя из задумчивости.

– А от мух-то, добродию. Подумаешь, что добрый человек им слаще меду иной раз...

– Голова болит, – перервал сурово пан Иван словоохотливого, хозяина. – Ты лучше чарку водки поднеси, чем попусту калякать...

– Пожалуйте, пожалуйста, пане Иване, – подхватил хозяин, заторопившись с таким удовольствием, словно ему село с угожьями подарили.

И мелким радостным шажком он пробежал вперед пана Ивана в хату, а пан Иван вступил за ним следом, сохраняя все тот же суровый и раздраженный вид, но уже поглаживая и расправляя щетинистые усы.

– Садитесь, пане Иване, а я сейчас чарочку наполню, – говорил хозяин, суется по хате.

– Некогда садиться, – отвечал, не смягчаясь, пан Иван, – давай скорее, я так, на ходу, хлебу. Да деньги у тебя готовы? Мне мешкать не приходится...

– Жалко, страх как жалко, что такой вам спех, пане Иване, – промолвил хозяин. – Такую горелку пить бы, да смаковать, скажу нелестно...

– А деньги готовы? – спросил пан Иван.

– Готовы, пане Иване, хоть и тяжеленько нашему брату.

Тут хозяин вздохнул и меланхолически поглядел на вынутый из кармана кошелек, а потом на пана Ивана.

– Толковать об этом нечего, – возразил пан Иван, успевший проглотить огромную чарку водки, словно ягодку.

Хозяин покорился с новым вздохом и больше не толковал, молча вынул гроши, гривны и стал их на все стороны обертывать, разглядывать, а потом принялся шепотом считать.

– Ты до трех-то сочтешь или не сила твоя? – спросил пан Иван, но не очень сердито, потому что, спрашивая, наливал вторую чарку горелки и спросил больше насмешливо, даже игриво. – Ты как считаешь-то?

– А я все *копами* считаю, пане Иване, – отвечал хозяин – пять, шесть... нет лучше счета, как *копами*... семь, восемь... батько покойный отроду не ошибался... девять... и ни один жид его не сбил... одиннадцать... а уж известно, что жида...

– Жида первые в свете хриstopродавцы! – рассеянно перебил пан Иван и, налив третью чарку, выпил ее и некоторое время смирно и безмолвно слушал суждения хозяина о нравах жидов, перерываемые счетом грошей, устанавливаемых кучками на столе.

Но после четвертой чарки вся суровость пана Ивана возвратилась с лихвою, лоб насутился, лицо омрачилось. На ласковые прощания хозяина он ничего не ответил, строго пересчитал поданные деньги, засунул их в карман нетерпеливою рукою, вышел быстрым шагом из хаты, отвязал кормившегося коня, назвав его прожорою, сурово приподнял шапку на все приветствия, нахлопнул ее сейчас же почти на самые глаза, пустился вскачь со двора и скоро исчез среди широкой степи, ярко зеленевшей, при играющем веселом солнце.

ХII

Между тем как орлиные очи Тараса жадно следили за скакавшим вдоль по степи паном Иваном, Марусины очи, проводив всадника со двора, обратились на хозяина.

Хозяин стоял у ворот и, казалось, без цели и мысли глядел вслед скакавшему пану Ивану, наблюдая, подобно Тарасу, его быструю езду да машинально прислушиваясь к звуку копыт по степи. Одною рукою ласкал он подошедшую собаку, а другою, в виде зонтика, прикрывался от лучей солнца, бьющих ему в лицо. Потом он, словно вдоволь насытившись зрелищем, медленно и безмятежно повернул от ворот к хате, посматривая туда-сюда по двору с тем пытливым видом, с каким аккуратный, исправный и бдительный хозяин иногда посматривает, выискивая, нет ли где в его исправном и безукоризненном хозяйстве чего такого, к чему бы можно прицепиться и на что бы можно обратить свою ретивую хозяйскую деятельность.

– Дед! – крикнул Тарас, очнувшись, наконец, от упорного созерцания давно исчезнувшего всадника. – Где вражеское войско стоит? Я думал, в Великой Ярузи, аж...

– А, детки, вы тут в садку гуляете? – ласково промолвил пан Кныш, останавливаясь на ходу и кивая головою. – Коли нагулялись, то берите дорогу до хаты, да «нехай хліб святий не даром родить»!

И он, усмехаясь, пошел к хате, а они за ним.

В мгновение была принята прочь фляжка и чарка, служившие пану Ивану; на столе появились вареники и коржи, и резкий запах горелки заменился запахом свежей сметаны.

Тарас, хотя озабоченный тем, где теперь расположилось вражеское войско, при заботе этой не хуже кого другого уписывал вареники – уписывал так проворно, словно кидал за себя, – но Марусе не шла еда на ум, и между тем, как ее тоненькие пальчики ломали и крошили коржик, ее глаза не отрывались от хозяйского лица.

– Дед, а дед! – снова начал Тарас, – коли он поскакал к Кривым Хрестам, значит, уж войско не в Великой Ярузи стоит?

– Надо полагать, хлопчик, надо полагать, – отвечал снисходительно дед, усердно подставлявший им яства. – А вот ты напомнил мне одно дело, Тарас: надо бы проведать, что наши верши близ Великой Ярузи.

– Я совсем забыл про них! – вскрикнул Тарас, вскакивая с места, словно его кто скинул одним махом.

– Эх ты, хозяин! – промолвил пан Кныш, усмехаясь.

– Ну, дед! – сказал Тарас, – и не знаю, как это я забыл!

И он стоял перед дедом в совершенном недоумении, точно ему-то уж никак не пристало, никак не годилось упускать из виду подобных вещей в хозяйстве.

– Пойду скорее, погляжу! – проговорил он, приходя, наконец, в себя от удивления и прогоняя смущенье быстрым исполнением решенного вопроса.

Он выскочил из хаты, на минуту раздался его усердный топот, раз донесся уже издали его голос, прикликавший Рябка, – и все стихло.

Маруся осталась наедине с хозяином, и теперь хозяин стоял перед нею и смотрел на нее – смотрел иным взглядом, от которого у нее сильно-сильно начало биться и трепетать сердце.

На ее глазах свершилась мгновенная, точно волшебная перемена или, точнее, преобразование: пан Кныш переродился. Вместо лукаво-простодушного, добродушно-озабоченного хозяйского образа, перед нею сверкали пронзительные, проникающие, словно острый кинжал, очи; все мягкие морщины исчезли, все черты как-то иначе выяснились – не шутивно и не безмятежно было теперь это лицо, – даже рост стал выше, плечи шире, рамена мощнее.

Несколько минут Кныш глядел на Марусю, а Маруся на него, словно зачарованная птичка, потом он сказал, – и голос у него иной стал: до того звучнее и полнее, что на прежний походил только, как походит скрипка с оборванными струнами на скрипку настроенную и поющую под искусною рукою.

– Маруся, – сказал он, – тут недалеко находится один приятель твой и хочет с тобою словца два перемолвить, – может, ты бы поспешила к нему?

Поняв Марусин ответ без слов, которые сильная радость перехватила, как острый нож, он сделал ей знак следовать за собою.

Он вышел из хаты во двор. Марусины глаза с радостным недоуменьем остановились на ворохе старых камней, около которого она слышала голос, возвративший ей бодрость и радость, но Кныш не сделал к нему и шагу, – он остановился, зорко поглядел во все стороны и свистнул, стороживший у ворот Ворон в два прыжка очутился подле; сел на задние лапы, закинул голову и толково и внимательно глядел в глаза хозяина, в ожидании приказаний.

– Нет чужого близко, Ворон? – спросил Кныш.

Ворон в ответ как-то особенно тихо и выразительно взвизгнул, будто говоря: ох, будьте спокойны! и, как бы в большее доказательство, что можно на этот счет быть совершенно беспечными, начал ловить и глотать мошек, пользуясь свободным временем, выпадающим между серьезных забот и важных занятий.

Кныш снова ввел Марусю в сени, но, вместо хатних дверей, отворил двери напротив, в комору, преисполненную запасами всего, что служит на поддержание жизни человеку: едва

можно было двигаться между многочисленными мешками муки, круп, пшена, гороху, маку, бобов; свет затемняли гирлянды висевшего хмелю, колбас, сушеных яблок; коши яиц, готовых раскатиться от неосторожно сделанного шага, заставляли боязливо приостанавливаться, в немалую тревогу вводили и строи бутылей и фляжек, пересекавшие путь.

Маруся остановилась при входе, выбирая, куда лучше ступить – всюду был шаг опасен. Она обратила глаза на Кныша, притворявшего за собою двери, и вдруг увидела у самого порога отверстие вниз под пол и ведущую в подполье лестницу.

– Тихонько спускайся, дивчино, – сказал Кныш. – Береги свои ножки!

XIII

Они начали спускаться вниз по ненадежной лесенке, которая гнулась и трепетала под ними, как живая.

Маруся не заметила, каким образом открылось подполье, и как оно закрылось, она заметила только потому, что они вдруг очутились в темноте.

Чем ниже они спускались по лесенке, тем воздух становился свежее и сырее, как бывает в погребах, куда не заглядывает отроду теплый и ясный луч солнца. Время от времени она чувствовала прикосновение надежной и уверенной руки, заботливо ее поддерживавшей.

Наконец, лестница окончилась и Маруся очутилась на дне глубокого погреба.

В то же мгновение проводник взял ее за руку и повел за собою.

Шли они не долго; едва сделали несколько шагов в темноте, как широкая полоса дневного света ярко пала сверху и осветила Марусе просторное подземелье, по которому спокойно прогуливался взад и вперед сечевик, погруженный в какие-то соображения, но не утративший ни крошки своей обычной чуткости и бдительности и в ту же секунду слышавший и завидевший посетителей.

– А, Маруся малая, порадница верная! – промолвил он, встречая их с спокойною улыбкою, словно гостей на мирном и приятном празднике.

Он не выказал волнения, и только на мгновенье, не больше, его светящиеся очи потонули в устремленных на него с радостью и упованием глазах девочки.

Но существует какая-то тайная, непонятная сила, выдающая в иные минуты жизни даже глубоко сокровенное биение сердца, и пан Кныш отлично угадал и понял, что маленькая девочка уже стала для запорожца всем, что красит и освежает, что чарует и наполняет отрадою и нежностью трудную, суровую, одинокую жизнь, исполненную опасностей.

И, вместе с тем, как он угадал и порешил это дело, на лице его мелькнуло то особое выражение какого-то томления, какой-то жажды обрести предмет нежности, какое-то выражение горечи, что не встречают его глаза такого предмета, куда ни обращаются, то особое выражение промелькнуло, которое рано или поздно промелькает у всякого, даже самого сильного духом, самого твердого нравом одинокого человека.

– Пройдемте подальше, – сказал Кныш, – там удобнее будет присесть и потолковать: слышнее будет, в случае какого неожиданного посещения...

Они прошли еще вперед по подземелью, которое то суживалось, то расширялось, то не пропускало ни искорки света, то свет его освещал, падая сверху, кругами, полосами, звездами, треугольниками и всевозможными фигурами, смотря по тому, какую лазейку устроила природа. Иногда этот свет падал сквозь трещину, словно сквозь круглое окно, иногда снопом лучей проникал через маленькие отдушники или узкою полоскою дрожал на черной земляной стене.

Везде, где только свет проникал, были подмощены лесенки, и скрытый в подземелье мог, по своему желанию, не только наслаждаться светом дня, но даже и видеть, что творится во дворе, между тем, как сам оставался невидим.

Все помолчали, как часто бывает, когда за живое заденет и сильно повернет сердце человеческое какая мысль или какое чувство.

– А временем мы не богаты! – проговорил Кныш, обращаясь к сечевнику.

– Зато не бедны вымыслом, – отвечал сечевик, – не побираемся ни отвагою, ни здоровьем!

– По-моему, коли в путь, то в путь!

– Авжеж! Выряжай меня, приятель, а я так охоч, как поповна замуж!

– Так за дело! – сказал Кныш.

Он отошел несколько шагов в бок и тотчас же вернулся с полною охапкою поношенных убогих сельских одежд, с накладною седою бородою, усами и бровями, с сумою и с бандурою, точно все это достал из-под земли.

– Так дивчина пойдет с тобою? – сказал Кныш, разбирая принесенную охапку.

– Маруся, пойдешь со мною? – спросил сечевик.

– Пойду, – отвечала Маруся.

– А знаешь, куда итти-то, дивчина? – спросил Кныш.

– Знаешь, куда? – повторил сечевик.

– Не знаю. Пойду, куда скажешь, – отвечала Маруся.

И радостно, и тепло, и бодро было у нее на сердце при мысли итти.

– Так вот убор дивчине, да пусть принаряжается, коли думает итти, – сказал Кныш, выбирая из охапки убогий девичий убор и подавая его Марусе, как подает из яйца букет цветов искусный отводчик глаз человеческих – фокусник.

– Славный бандурист из тебя выйдет, пане приятелю! – говорил Кныш, глядя, как сечевик прибирался в одежды странствующего певца. – Да и поводырь у тебя будет *щирый*! – прибавил он, перенося взгляд на Марусю и улыбаясь усердию, с каким она вся предалась переодеванью, далеко отбрасывая свои красивые одежды и жадно облекаясь в ветхие и плохие «дранки».

– Пойдем, Маруся, к самому пану гетману! – сказал сечевик.

Сияющий взгляд, ответивший ему, навел на него какую-то думу, но не надолго.

– Тем временем, как мы прибираемся в путь, пане приятелю, – сказал он Кнышу, – ты, будь ласков, поучи нас уму-разуму. Расскажи толком, что тут у вас деется. Вот я уже больше месяца *никаю* помеж людом, а до сего часу ничего не добился ни путного, ни верного: больше согласья у молодежи на великом торгу, чем у вас на славной Украине!

Кныш все молча следил за переодеваньем и, как человек, больше знакомый с осмотрительностью, чем с откровенностью и отвагою, вместо знаков согласия или отрицания, только время от времени слабо проводил рукою по струнам бандуры, которую держал.

– У тебя каковы вести? Ты ведь на свободе толкуешь, без спеху, а мое дело такое, как вдогонку целоваться... ты, значит, лучше все разумеешь и разбираешь, чем я, – продолжал сечевик.

– Да что! – ответил Кныш, – ропщет народ... *Тогобочному* давно не верит и *сегобочному* верить перестает...⁵ Времена незавидные. С одного боку москали, с другого – ляхи, с третьего – татары, а дома два гетмана друг на друга чеснок товчуть...

– Сказывали, что наш подался здоровьем; правда?

– Болен он не был, а с лица спал; да и не диво: горе только одного рака красит! – отвечал Кныш.

– А *том*?

– *Том*? О *там*, коли добрые слухи собирать, то, исходивши всю Украину, вернешься с пустыми руками, а коли собирать худые, то оглохнуть можно всюду, куда ни приду.

– Кто там около него из наших?

⁵ Речь идет о Дорошенко, Брюховецком.

– Антон еще держится, да и тот говорит, что уже невтерпеж: таким еще плюгавцем никогда, говорит, я не бывал. В случае чего, помни, что жинка у него добрая.

– Вправду? Та великая пани?

– Да, та великая пани. Бывает, что и между крапивою растет *кийло*⁶.

– Она у него откуда?

– Не знаю.

– Коли с их поля ягода, так не верь: будет все тот сам зверь, только под другой приправой.

Так наш крепко подался?

– Подался.

– Кто там у него в советчиках теперь?

– Никого. Сидит один, как подстреленный орел.

– Ему трудно.

– Трудно.

Сечевик был уже готов и принял бандуру из рук Кныша.

Маруся тоже была готова, и все вышли из подземелья.

Отряды, проезжавшие под вечер мимо хутора, видели почтенного бандуриста, сидящего на завалинке хаты пана Кныша, тихо перебирающего струны и протяжно поющего божественные псалмы, между тем как поводырь его, пользуясь отдыхом, спал на траве, а пан Кныш, склонив голову, смиренно и несколько трусливо слушал эти божественные гимны, как человек, смутно чувствующий, что он не всегда шествовал по стезе, указанной в псалмах.

XIV

В сумерки бандурист с своей поводыркой уже были около стана, расположившего свои походные палатки недалеко от реки, на пригорке, среди широких, благоухающих свежих полей.

Вечерние тени уже сгущались, и только на западе светила ярко-алая полоса вечерней зари.

В стане было очень тихо. Стража, позлащенная вечерними лучами, казалось, вылита из металла по своей неподвижности и блеску. Несколько фигур ходило быстро, суетливо, несколько других медленно бродило; в одной палатке, несмотря на еще не совсем погасший дневной свет, теплилась уже, сквозь белое полотно, зажженная свеча; время от времени звякало там или сям оружие, раздавался голос.

Появление бандуриста издали было усмотрено и замечено, но он спокойно приблизился к самому стану и потому никакого сомненья, ни опасенья не возбудил.

Его появление многим даже доставило видимое удовольствие; когда он заиграл на бандуре и медленно, торжественно запел божественный псалм, все слушали, задумавшись.

Многие головы, перевязанные окровавленными повязками, приподнялись с очевидным намереньем кинуть приношение к ногам певца, и сознание слабости вырвало у иных восклицание досады, у иных грустную усмешку; один сделал знак проводнице подойти ближе, показывая ей издали грош.

Девочка, однако, стояла в нерешимости – бандурист ей ничего не говорил, вероятно, потому, что по крайней слабости старческого зрения не видал сделанного знака.

– Подойди, красная девушка, – проговорил раненый, – я тебя не укушу, а грошик дам!

Другие руки тоже протянулись с приношением, другие голоса тоже звали девочку, и она пошла кругом, кланяясь и собирая дрожащею рукою приношения, встречая ласковые взгляды, выслушивая шуточные приветствия.

Но тут бандура так зазвучала у бандуриста, что все внимание обратила на себя.

⁶ Кийло – ковыль трава.

Что это была за песня – разобрать было трудно; не то угрожающий гимн, не то мучительный стон.

Все притихло, слушая, поглощенное непонятною силою; робкая девочка с опущенною головкой и дрожащею ручкой была забыта. Все увлеклись бандуристом.

В прозрачном тихом воздухе, в светозарной мгле розового вечера гудело, дрожало и разливалось:

Ой ти ремезо, ой ти ремезонько,
Да не мости гнізда, да понад Десною!
Бо Десна – Десни щодня прибуває,
Вона твоїх діток да позатопляє!⁷

Какой-то молодой офицер, красивый, как картина, самодовольный, удалой, с военными ухватками и военным выражением лица, вышел из палатки.

Он вышел, очевидно, от скуки, от нечего делать, но, услышав пенье бандуриста, приостановился, потом перестал пускать дым колечками, потом забыл курить трубку, потерял воинское выражение лица и фигуры.

Что-то давным-давно заглохшее, что-то давным-давно позабытое ему вспомнилось.

В иные минуты странно преображаешься ты, образ человеческий!

На лице офицера, всего за несколько секунд пред тем являвшем, так сказать, один воинский парад, теперь заиграло совсем иное.

Даже черты словно стали другие. На гладком, отлогом лбу собрались, может, отроду тут небывалые складки, губы, щеголявшие, как лучшим украшением, самодовольною и несколько наглою улыбкою, сжались, глаза, имевшие только способность глядеть по-военному, чудесно смягчились.

Грозное, зловещее пенье бандуриста перешло в другое, до того преисполненное отчаянной, бессильной тоски, что один раненый солдат проговорил:

– Ах, жилы из меня тянут!

Зажурилась Україна,
Що нігде прожити,
Витоптала орда кіньми
Маленькі діти
Що малії витоптала,
Старії побила,
Молодую челядоньку
У полон забрала!⁸

Слушая это незатейливое изложение фактов, офицер как бы спрашивал себя о многом таком, о чем прежде спрашивать не было помышления.

Можно было наверное сказать, что в этот момент он не крикнул бы с прежним удалством:

– Пли!

Какой-то усатый солдат, напоминавший цветом и изъянами израненного тела старую, полومانную медную статую грубой работы, могущую олицетворять собой представление гру-

⁷ О, ремез, не свивай гнезда около Десны: вода в реке с каждым днем прибывает, и твои дети будут затоплены.

⁸ Плачет Украина, потому что негде укрыться от беды. Татарская орда потоптала детей, поизбивала старых, а молодежь забрала в плен.

бой, свирепой жестокости, сначала мрачно, но неподвижно, слушал пение, потом отошел дальше, потом скрылся за палатку, лег на траву, прикрылся шинелью, и по его закаленному лицу потекли обильные теплые слезы – слезы, не выдавшие себя ни рыданьем, ни вздохом, совсем тихие, тише весеннего благодатного дождя в степи.

Вдруг пенье оборвалось, бандура зазвучала быстрее, быстрее, быстрее, и воинский стан огласился плясовыми звуками.

Ой продала дівчинонька юпку,
Та купила козакові люльку,
Люльку за юпку купила —
Вона ж його вірно любила!
Ой продала дівчинонька душу,
Та купила тютюну папушу,
Папушу за душу купила —
Вона ж його вірно любила!⁹

Раздался с разных сторон хохот; некоторые принялись подтягивать, качать в такт головою.

– Ай да бандурист! – слышались восклицания, – ай да бандура!

Много шутивных песен еще пел бандурист в потеху воинам, и не без сожаления они распрощались с ним, не без удовольствия приняли его обещание возвратиться снова и снова их потешить.

– Куда идешь? – говорили некоторые. – Ночь ведь на дворе, а дороги-то, известно, не надежные...

– Старцу разбой не страшен, – отвечал беспечный бандурист, уходя, и скоро скрылся с своею проводницею во мгле летнего вечера.

XV

Уже звезды загорелись в небе, а сечевик с Марусею все шли тихою, безбрежною, задремавшею степью.

Все вокруг них безмолвствовало, и сами они не промолвили слова.

Да и что говорить, когда рука с рукою идешь на доброе дело?

Да, хорошо было так идти рука с рукою по дремавшей степи, среди ночного безмолвия, чувствуя только биенье своего переполненного сердца!

Они не знали, долго ли шли, и мы не станем высчитывать того – часы эти были добрые, значит, нечего было знать их – сами пролетели птицею.

Перед ними мигающими точками мелькнули во мгле огни и скоро во мгле же очертились и темные очертания стен и зданий.

Угрюм и мрачен был вид этого города, черно рисовавшегося в ночной темноте, сверкавшего мелкими огненными точками. Обычного торопливого городского шума не было слышно, обычной вертлявой городской суеты не было заметно; совсем иная жизнь здесь проявлялась: не те были отзвуки шагов, не те отклики голосов. Как в природе видно приближение наступающей грозы, так в этом городе все дышало готовностью к битве и отпору; чем это особо выражалось – нельзя определить точно, но выражалось на всем: и на убогих низких хатах среди садилов, и

⁹ Продала девушка душегрейку да купила козаку трубку. Не пожалела душегрейки – она его верно любила. Продала девушка душу и купила козаку пачку табаку. Не пожалела души – она его верно любила!

на высокой *дзвонице*¹⁰, и на старых городских стенах, и на свежеподсыпанных валах. Все здесь приняло характер решительного отпора, хотя соловьи по-весеннему заливались и щебетали по садикам, и женские фигуры спокойно проходили по улицам.

Никто не окликнул их, когда они подошли к городским воротам, и они ступили в город без помехи и затруднения; но всякая пара глаз, казалось, заметила их и следила за ними бдительно и зорко.

– Эй, братику! – сказал сечевик, обращаясь к молодому козаку, ждавшему чего-то, опершись на садовый плетень около хатки с светившимся окошечком. – Эй, братику! будь ласков, покажи старому бандуристу, как достигнуть до пана гетмана!

Молодой козак, приподняв шапку и указав во мглу улицы, усеянной, словно искорками, отблесками из окошечек, проговорил:

– Минувши эту улицу, направо будет гетманская хата.

Они, поблагодаривши козака, минули указанную улицу и угадали, которая направо гетманская хата, по более яркому освещению и по тому, что две дивчины, проходя мимо, приостановились, заглянули в окошко и сказали: «Пан гетман, должно быть, не спит».

В этом окошечке ярко обрисовывалась голова усатого козака, точно вырезанная из черного камня, склонившаяся на руку в глубокой думе. Прислушавшись, можно было слышать мужские шаги по светлице, шаги то медленные, то быстрые, удивительно-выразительные шаги.

Сечевик постучался.

Усатый козак покинул думать, встал и отворил двери. Шаги в светлице прекратились мгновенно, и наступила совершенная тишина.

– Пану гетману приятели поклон прислали, – промолвил сечевик, вступая в хату рука об руку с Марусею.

То была незатейливая светлица; в следующую двери были затворены.

– Спасибо за приятельскую ласку! – отвечал усатый козак равнодушно-приветливо, словно подобные посещения случались сплошь да рядом.

– А можно видеть гетманские ясные очи, братику? – спросил сечевик.

Но двери из следующей светлицы уже распахнулись, сам пан гетман стоял перед ними, и вся его фигура спрашивала без слов: откуда гости? каковы вести?

Свет огня освещал его не всего, а полосами и искрами: то сверху, то сбоку, то снизу. Он весь являлся в черных тенях и в трепетном узорном освещении. Черт лица невозможно было хорошо уловить, только очи, пронзительные и пытливые, сверкали в полутемноте, как уголья.

– Челом бью пану гетману! – сказал сечевик, увидя его, и низко поклонился.

Низко поклонилась и Маруся пану гетману.

– Спасибо, – ответил пан гетман. – А какую песню пропоешь нам, ласковый бандурист?

Самый звук голоса уже показал человека, привыкшего повелевать, а не слушать повеленья – человека, привыкшего без запинки высказывать свои желанья и мненья и без колебанья и страху их оспаривать и за них стоять.

– Разве свою, пане гетмане, потому что не сижу на чужом возу и не подтягиваю за хозяйскую ласку.

Пан гетман ничего не ответил на это, но никакие слова не передали бы лучше удивления, гнева и горести, чем это молчание.

– Откуда Бог несет? – спросил пан гетман.

– Из Запорожья, – отвечал сечевик. – Запорожцы приказали низко кланяться вельможному пану гетману.

– Спасибо, – промолвил гетман. – Милости просим до моей светлицы.

¹⁰ Колокольня.

Сечевик последовал за гетманом во вторую светлицу, и Маруся, все еще державшаяся за его руку, вошла тоже в гетманский покой.

Убранства в этом покое не было никакого особенного; те же белые стены, те же липовые лавки, как и в простой козацкой хате, только много разного и дорогого оружия и по стенам висело и по углам стояло; на столе лежал бунчук и бумаги. Гетманские жупаны висели на колках и блестели шитьем. Кровать стояла какою-то неприступною для сна и успокоенья, и столкнутая с изголовья подушка ярко и несомненно выражала, в каком жару и муке была приклонявшаяся к ней не надолго голова.

– Прошу садиться, – промолвил пан гетман.

И сам сел и устремил огненные очи на сечевика. Все его члены видимо трепетали, точно он сдерживал себя и эта узда докучала ему и раздражала его.

– Извини, пане гетмане, – отвечал ему сечевик, – вот видишь, у меня поводырь маленький, утомился – аж привял, надо бы отдохнуть ей, бедняжке...

Пан гетман встал и, сдернув с ближайшего колышка великолепный жупан, кинул его сечеву. Потом глаза его пали на персидский ковер, покрывавший большую скамью; он сдернул его одним движением и тоже кинул сечеву, с нетерпением следя за его заботами о поводыре.

Ни одна нянька не перешеголяла бы сечевика в быстроте и ловкости, с какою он постлал персидский ковер на лавке, искусно устроив изголовье без подушки; да и какая же нянька могла бы бережнее и нежнее приподнять Марусю и заботливее, ласковее опустить ее на постель и прикрыть великолепным гетманским жупаном?

С каким наслажденьем усталые члены коснулись этого ложа, приготовленного верною и надежною рукою!

Но спать девочка не могла; сна у нее совсем не было. Она даже не дремала; из-под падавших складок гетманского жупана очи ее приковывались невольно и непобедимо к двум себе-седникам и следили за их малейшим движением, ловили самое мимолетное выражение их лиц.

Они сидели у стола, друг против друга, и свет ярко пылавшей восковой свечи совершенно освещал их лица и фигуры.

Что за мощная фигура сечевика! Сила, краса его исполняли сердце девочки каким-то благоговением и упованием.

Но другая фигура!

Душа ее исполнилась жалостью и трепетом, когда она глядела на эти впалые очи, мрачно и тревожно сверкавшие из-под густых бровей, на несвоевременные морщины, избородившие величавое и гордое чело, на все следы разрушения внутренним огнем – огнем, казалось, неугасаемым, палившим безостановочно и неотступно.

Они оба тихо говорили. Очень тихо и сдержанно.

Она долго вслушивалась в этот разговор, как вслушиваются в отдаленный шум моря.

Наконец, усталость взяла свое, глаза ее вдруг сомкнулись, и она уснула.

XVI

Маруся спала, как спят на берегу моря: и спишь, и чуешь, что вокруг тебя грозная пучина, и улавливаешь сквозь сон ее грозный ропот, и хотя грезится многое свое, но неотступно мерещатся безбрежно колыхающиеся волны.

Ей представлялся отцовский хутор, благоухающий вишневый садик, знакомые родные лица, но все это как-то странно, не то чтобы линияло, а лучше сказать, тонуло в тумане, отодвигалось на задний план; на первом плане ярко сияли новые образы.

Вдруг она мгновенно пробудилась и быстро приподнялась на своем ложе.

Сечевик сидел, по-прежнему облокотясь на стол и, по-прежнему, его очи горели, как две яркие звезды, ослепительно, спокойно и ровно, как настоящее светило.

Пан гетман стоял посреди хаты. Видно было, что он рванулся с места в ту самую минуту, когда его уязвила страшная боль, рванулся и остановился, как бы ошеломленный метко попавшим ударом.

У пана гетмана тоже горели очи, но горели иначе; мучительно замирало сердце, чувствуя, что из этих очей могут сейчас же хлынуть отчаянные, жгучие слезы. Гордое чело побелело от обуревавших мук и терзаний, и залегшие на нем морщины, казалось, видимо бороздились все глубже и глубже.

– *Чи плакав би сліп, якби стежку бачив!*¹¹ – проговорил он, наконец. – А время идет! Время идет! А согласия нет! Помощи нет! Я знаю, я сунулся в воду, не спросившись броду, знаю! Да и вы к доброму берегу не приплывете! Вижу я, какой конец будет!

Голос у него прервался.

Сечевик молчал и только пристально глядел на пана гетмана.

Пан гетман заговорил снова:

– Так вы так уж и посчитали, что я на Иудины гроши соблазнился, а? Добрые люди! Добрые люди! Вы...

– Пане гетмане! – почтительно прервал его сечевик, – позвольте вашей милости притчу доложить?

– Говори!

– Жили-были два добрых пса...

– Знаю, знаю, знаю!

Пан гетман кинулся на скамью у стола, протянул руки на стол и припал на них головою. Лица его не было видно, но по одному склоненью не умеющей гнуться шеи угадывалось, как тяжела бывает гетманская шапка.

Так оставался он несколько минут.

Сечевик, все так же пристально и внимательно глядевший на него своими звездоподобными глазами, казалось, не считал нужным обращаться к собеседнику с какими бы то ни было вопросами, объяснениями или речами.

Наконец, пан гетман поднял голову.

– Так что ж мне, по-вашему, нести вам повинную голову, а?

Голос его был сдержан, но в нем слышалась глубокая, едкая горечь; бледное лицо как-то медленно передергивалось.

– А мы же присягали, пане гетмане, эту голову нашу нести, куда надо, за родину. Не в нашей голове тут сила.

Пан гетман быстро встал, прошелся по светлице, как вдруг вскакивают и делают круг раненые звери, подошел к окну, поглядел во мглу благоухающей, тихой и теплой ночи, на сверкающие мириады звезд и опять сел у стола.

Наступило долгое молчание, и так стало тихо, что Маруся слышала биение своего сердца.

Наконец, пан гетман снова встал, подошел к полке в углу, взял оттуда чернильницу, перо и бумагу, перенес на стол, разложил как бы для письма и опять удалился к окну, опять глянул в благоухающую мглу теплой ночи, на искрометные звезды и оттуда проговорил глухо, как будто горло его сдавливала железная рука:

– Я ему напишу все, что требуется.

– Доброе дело, – ответил на это сечевик.

Еще на несколько минут наступило молчание. Между тем, глаза сечевика встретились с глазами Маруси и он ласковым знаком головы и улыбкой дал ей понять, чтобы она постаралась снова заснуть и отдохнуть.

Но она, в ответ, указала на пана гетмана.

¹¹ Разве плакал бы слепой, если бы мог видеть дорогу!

Он понял, что ее мучит, и опять ответил ей успокаивающим знаком.

Пан гетман подошел к столу и начал писать.

Важное, надо полагать, было это письмо и трудно ему было писать.

Когда оно было окончено, пан гетман передал его сечевнику.

– Прочти! – проговорил он.

Сечевник прочел исписанный листок, сложил и, взяв свою бандурскую шапку, бережно засунул его под шапочную подкладку.

– Когда ж доставишь? – спросил пан гетман.

– Как только донесет меня Бог и добрая доля, так и доставлю, – ответил сечевник.

И с этими словами он встал.

– Идешь? – спросил пан гетман.

– Иду, пане гетмане; счастливо вам оставаться. Маруся в одно мгновение была тоже на ногах.

– Меня не покинешь? – спросила она.

– Нет, не покину, – ответил ей сечевник, слегка наклоняя над нею свое смуглое лицо. –

А коли утомилась, так на руках понесу.

Маруся схватила его за руку.

– Бью челом пану гетману, – сказал сечевник, низко кланяясь.

– Он продаст нас! – глухо проговорил пан гетман.

– Милостивый Бог не выдаст, супоросная свинья не съест! – возразил сечевник.

– С ним нельзя правдою! – воскликнул пан гетман, – нельзя...

– Ничего, пане гетмане, ничего: *де не хватає вовчої шкіри, там ми наставимо лиса*¹², – проговорил сечевник, – будьте здоровы и нас поджидайте. Пойдем, Маруся малая.

Они вышли из гетманской светлицы и направились опять к городской заставе.

Все было тихо и темно по улицам; вишневые садики мягко белелись; где-то глухо журчала вода.

Отойдя несколько шагов, Маруся оглянулась на гетманскую хату.

В отворенных дверях, через которые они только что вышли, стоял пан гетман и глядел им вслед.

При неясном свете мерцающих звезд едва виднелась его фигура, но и это неясное очертанье было до того преисполнено выраженьем муки, что у Маруси сердце больно забилося.

– Утомилась, Маруся? – спросил сечевник, пробираясь по излучистым переулкам.

– Нет, – отвечала она. – Мне хорошо итти. Далеко могу, куда хочешь!.. Мы далеко пойдём?

– Далеко.

Несколько времени они шли молча. Раза два или три им то навстречу попадались, то перегоняли их чигиринские жители – все сильные, крепкие люди, которые, как будто мимоходом, только взглядывали на них и затем повертывали своею дорогой.

У заставы вдруг поднялся с земли какой-то гигант с аршинными усами и воздвигся перед бандуристом наподобие колокольни.

– Куда Бог несет, ласковый пане бандурист? – спросил он.

– Туда, где добрые люди, шановный земляче.

– Ну, а как повстречаются злые, пане бандурист?

– Волка бояться, так и в лес по ягоду не ходить, земляче.

– Кабы я был козак сильный, пане бандурист, я бы поклонился тебе и попросил бы... да несмелый я козак!

¹² Где не хватает волчьей шкуры, там мы наставим лисей.

Маруся пожелала получше поглядеть на этого «несмелого», но голова его была так от нее высоко, что она могла видеть только висячие, как снопы свежей степовой травы, усы.

– Ничего, осмелся, – ответил бандурист.

– Спой ты мне какую ни на есть думку.

– Изволь.

Бандурист тихонько заиграл на бандуре и тихо запел:

Ой послушайте, ой повідайте,
Що на Україні постало:
Під могилою, під Сорокою,
Множество ляхів пропало ¹³

Когда пенье смолкло, «несмелый» козак отодвинулся в сторону и бандурист с Марусей свободно вышли за заставу.

Дорога вилась далеко-далеко черной змеею по мягкой, густой мураве. В чигиринских садиках пели соловьи.

XVII

Ровно через две недели после свиданья с паном гетманом, тихим чудесным вечером, старый бандурист со своим поводырем медленно подходил к сожженному селу.

Видно было, что эти путники не баловали себя излишним отдыхом: впалые глаза блестящими каким-то лихорадочным огнем на запыленных, загорелых лицах, губы пересохли и потрескались.

Однако они шли бодро и спокойно между собой разговаривали.

Ни души им не попадалось по дороге; всюду молчанье, тишь.

Прямо перед ними чернелись обгорелые хаты и садики, вдали дымились села и хутора.

Миновав выжженную улицу, на которой уже кое-где бархатились пятна свежей зеленой муравы, они повернули к разрушенному засоренному колодцу.

– Приятно испить свежей криничной водицы! – сказал бандурист.

С этими словами он запустил руку в глубокую торбу, висевшую у него через плечо, достал оттуда деревянный ковшик, размахнул им плавающие поверх воды головешки, зачерпнул и подал своему поводырю с такою дружескою улыбкой, которая несомненно показывала, что он своим поводырем доволен и счастлив вполне.

– Милости просим, Марусю! – сказал он.

– Спасибо, – ответила Маруся.

И ее улыбка также несомненно показала, что и она довольна и счастлива своим спутником.

Она прильнула запекшимися губами к ковшику с холодной водой, но утоление жажды не поглотило ее вовсе; она пила как-то рассеянно, глаза ее беспокойно, тоскливо, пристально и жадно оглядывали разрушенный колодец и в глубине его, покрытую головешками, водную поверхность.

Вдруг она вскрикнула:

– А!

Вскрикнула она так, словно обрела, наконец, мучительно ожидаемое. Лицо ее вспыхнуло, глаза засияли, увлажились и обратились на спутника.

¹³ Послушайте, поглядите, что на Украине делается: под Сорокою могилою побито множество ляхов.

Взгляд, который обратил на нее спутник при этом восклицании, был не вопросительный, а скорее взгляд шутиwego торжества, каким напоминают забывчивым детям о их повторившемся, невзирая на усердные за себя ручательства, промахе.

– Ох, как звонко ахнула! – проговорил он. – Видно, очень сладка ключевая водица, Маруся?

Маруся опять вспыхнула, но уже глаза ее не засияли, а вдруг померкли, брови сдвинулись, и омрачившееся лицо понятно сказало:

– Опять я не выдержала!

– Ну, что уж с возу упало, то пропало, – сказал бандурист. – Кинем лихом об землю! Еще не все наши чайки потонули! Маруся, полно! Не запечатывай своего сердечка, не топи очей в землю, не смыкай уст! Некому ни подслушивать, ни подглядывать тут на пожарище. Сядем-ка, закусим, а закусивши, дальше потянем.

Из торбы была вынута краюха хлеба, несколько свежих огурцов, мешочек с солью, и путники принялись за закуску.

Что же заставило радостно вскрикнуть Марусю, точно она вдруг обрела сокровище, на которое и надеялась, и нет?

Ничего не видать было около разрушенного, обгорелого колодца, кроме обуглившихся головешек.

Разве вот только бросается в глаза свежая плетеница зеленого барвинка, которая, вместе с обуглившимися головешками, кружится на всколыхавшейся воде.

В самом деле, как попала сюда эта свежая плетеница?

Бандурист и его поводырь или это знают, или этим вовсе не интересуются, потому что они ведут разговор про город Батурин и ни единым словом не поминают про барвинок.

Закуска окончена.

– Что, Маруся, отдохнула? – спрашивает бандурист.

– Отдохнула! Отдохнула! – громко отвечает Маруся.

И вот уже она на ногах и закинула дорожную котомку за плечи и глядит на своего спутника блестящими глазами.

Перед уходом с места отдыха ее спутник опускает свой старческий посох в колодец и вытягивает из воды свежую плетеницу барвинка.

– Маруся! – говорит он, – отличный будет венок!

Маруся схватывает протянутую ей зелень, стряхивает с нее воду и быстро обвивает ею свою голову.

– О, венок чудесный! – говорит она.

И снова бандурист с поводырем пускаются так же бодро и спокойно в путь.

– Теперь уж недалеко, – говорит бандурист, – не успеет блеснуть в небе первая звездочка, а уж мы завидим могилу Надднепровку.

И точно: не успела еще блеснуть в небе первая звездочка, как они уже завидели эту могилу.

Солнце уже зашло, и наступила вечерняя мгла, но мгла особая, какая-то золотисто-лиловая. Молоденькие деревья, густые кусты и высокая трава, которыми поросла могила, казалось, тихо пылали; каждая веточка, каждая былинка вырезывались до того отчетливо на горизонте, что глазам становилось как-то трудно на них глядеть.

Черный обломанный крест освещался так мягко, что казался бархатным, а реюшие в высоте темные птицы, точно каким волшебством, превращались в радужных, из радужных опять в темных и затем снова в радужных, смотря по направлению своего полета.

С могилы открывался Днепр.

Он представлялся отсюда громадным разливом вороненой стали. На противоположном берегу высились лесистые горы – снизу совсем черные, а сверху точно подернутые золотистым огнем.

Доходил ропот воды снизу и звонкий шелест очерета; кругом чувствовалась удивительная свежесть; время от времени, в общем безмолвии, проносился крик чайки, и сама она мелькнула над рекой чуть заметной точкой.

– Вот тут мы сядем и запоем, – сказал бандурист.

Та все пани, та все дуки,
Позаїдали наші поля, луги, луки! —

прокатилось над водами, грянуло в ущельях и откликнулось далеко за горами.

Окончивши песню, бандурист несколько минут перебирал струны бандуры, между тем как зоркие глаза его неподвижно были устремлены на Днепр.

Маруся тоже не сводила глаз с реки.

Вдруг где-то неподалеку, в очеретах, крикнула чайка.

Глаза бандуриста блеснули ярче, и снова загудело над рекой пенье:

Та немає гірше так нікому,
Як бурлаці молодому!
Гей, гей, як бурлаці молодому!
Що бурлака робить-заробляє,
Аж піт очі заливає!
Гей, гей, аж піт очі заливає!

Опять неподалеку в очеретах крикнула чайка.

Аж піт очі заливає, А хазяїн нарікає,
Гей, гей, а хазяїн нарікає!
А хазяїн нарікає,
А хазяйка ввічі лає,
Гей, гей, а хазяйка ввічі лає!

С той стороны, где кричала чайка, из камышей выплыл узенький челнок и, едва отлича-
ясь от темных вод, быстро заскользил по ним, направляясь к маленькой бухточке, устроенной
самою природой как раз против могилы Надднепровки.

Вглядевшись пристально, можно было различить неясные очертания пловца, или, лучше
сказать, его высокой шапки.

Но и не видя пловца, можно было наверно сказать, что рука у него мощная и ловкая.

Эта рука действовала веслом, как игрушкой. Челнок несся по воде, как легкая пушинка
по ветру.

– Ну, Маруся, – сказал бандурист, – пора нам на берег.

Не разбирая дороги – тут, впрочем, тропинок не было проложено, – они быстро спусти-
лись с могилы, обогнули каменистый, крутой выступ берега и очутились внизу, у самой реки,
тихо плескавшей в прибрежные травы и каймившей их узкою полоской белой пены.

– Здорові були і Богу милі! – приветствовал их ласковый знакомый голос.

Легкий челночок был вытянут на прибрежный песок, а около челнока, облокотясь под-
бородком на весло, стоял добродушный хуторянин, пан Кныш.

– Бьем челом! – ответил бандурист, снимая шапку.

– А что, дивчинка? Как живешь-можешь? – спросил пан Кныш, пристально вглядываясь в Марусю своими ясными соколиными глазами.

– Благополучно, – ответила Маруся.

Да если бы она этого и не ответила, он бы легко мог угадать ответ по каждой фибре ее оживленного лица.

Однако, как человек, привыкший не полагаться на отдельный, хотя бы и самый доказательный факт, он, не довольствуясь свидетельством лица Маруси, улыбаясь и глядя ее по головке, кинул быстрый, но насквозь пронизывающий взгляд на ее спутника.

Тот, в эту минуту, глядел, усмехаясь, на Марусю.

Пану Кнышу, вероятно, эта усмешка показалась достаточно выразительной, потому что он перестал кидать на них взгляды и обратил глаза на Днепр.

– Скоро поплывем? – спросил бандурист.

– А вот сейчас. Славно будет плыть, тихо... Тихо так, что не шелохнет... Кабы не свежесть от воды, так жарко бы было.

Судя по выраженью лица и голоса пана Кныша, он с наслаждением упивался этой тишью, и слова бессознательно срывались с его уст, как это бывает, когда человек весь находится под обаяньем какого-нибудь ощущения.

Вдруг раздался крик чайки, и раздался как будто из-за плеча пана Кныша.

Тотчас же издалека, с противоположного берега, пронесся такой же ответный крик.

– Пара откликается! – заметил бандурист.

– О, эти птицы пречуткие! – отвечал пан Кныш, усаживаясь в челнок. – Садись, дивчина, – прибавил он, обращаясь к Марусе и протягивая ей руку.

– Где другое весло? – спросил бандурист, впрыгивая так легко и ловко в челнок, что челнок даже не покачнулся.

– В челноке, на дне. Отчаливай!

Челнок быстро соскользнул на воду и понесся по темному Днепру.

XVIII

Очень хорошо плыть по большой реке в летнюю теплую ночь!

Звезды горят над вами и звезды горят под вами, сверху плывет месяц и снизу плывет месяц.

«Вот там берега!» – думаете вы, всматриваясь в темные линии. Вот там непременно растет сосна, потому что сильно вдруг потянуло оттуда смолистым запахом, а вот там, наверно, пропасть цветов, потому что порыв теплого ветра словно кинул вам в лицо целый, только что сорванный, обрызганный ночною росой букет.

– Ну, что нового? – спросил бандурист.

– Немного, – ответил пан Кныш, работая веслом.

– А как немного?

– Да так, что и малому дитяти двумя пальчиками захватить нечего.

– Что ж, он дома?

– Дома, каплунов жарит, прожорливых гостей ждет.

– Уж коли каплунов жарит, значит, что-нибудь порешил: даром тратиться не будет, не такой хозяин!

– Кто его разберет, что он замышляет, *у него гадок, як у пса стежок!*¹⁴

– Ну, да уж в святое место не забежит; разве что нечаянно.

– Разумеется. А *тот?*

¹⁴ У него столько замыслов, сколько у пса тропинок.

– Э! кабы все такие были, как тот, так еще бы можно людям на свете жить. Тот человек. У того душа, как пойдет на небо коржи с маком есть, так не станет жаловаться, что в пне жила!

– Написал?

– Написал. А не легко было ему написать! Так его всего и поводило, как бересту в огне.

– Половина дела сделана, и за то спасибо Богу. Этот охотник-таки водит...

– Может, со мной немного кругов обойдет; я такой карась, что трепетьвался на удочке...

Маруся, изморилась, а? Легла бы ты да отдохнула, а? А я бы сказку сказывал.

– Это дело, – заметил Кныш.

– Я не хочу спать, я посижу, – начала было Маруся.

Но две сильные, ловкие руки в одно мгновение, одним махом, разостлали по дну лодки толстую суконную свиту, приподняли Марусю и бережно положили на это ложе.

– А я буду сказку сказывать, – повторил сечевик.

– У, роскошь! – сказал Кныш. – Беда моя, что у меня всего-навсего два уха: кабы мог, я бы еще десятка два займы взял и всеми бы слушал.

– Жил-был козак, – начал сечевик, – козак добрый, благочестивый, да только дурень. Он с виду-то и ничего, и с первых слов ничего, а чуть зачерпни его поглубже, так такая уж там дуровина, что другие умные козаки пьянели от нее, как от какого поганого зелья. Вот и задумал этот козак строить себе хату. И говорит он жене:

– Ну, жена, удивлю ж я тебя: такую хату выстрою, какой еще не бывало на свете. И строить я ее стану не так, как люди.

– А как же? – спрашивает жена.

Он моргнул этак глазом: дескать, не на такого напала, не проговорюсь! – засмеялся и пошел в лес руб...

– Поглядите, – вдруг вскрикнула тихонько Маруся, – поглядите!

И указала вперед, вправо.

Но Кныш, сидевший лицом туда, давно уже слегка щурил свои соколы глаза, как бы всматриваясь и распознавая знакомые предметы.

Сечевик, при возгласе Маруси, не шелохнулся, а только спросил Кныша:

– Что там?

– Они, – отвечал Кныш.

Река в этом месте значительно суживалась, и челнок плыл почти у самого правого берега.

На песчаной косе, как бы серебряной лентой входившей в темные, сверкающие звездами, воды, стояли два человека, в свитах и высоких шапках, и, казалось, поджидали плывущий челнок.

Хотя до песчаной косы оставалось еще, по крайней мере, добрых четверть версты, но стоящие на ней так ясно и отчетливо вырисовывались в воздухе, что Маруся без труда узнала знакомые фигуры Семена Ворошила и Андрия Крука.

Чем ближе подплывал челнок к песчаной косе, тем яснее можно было различить, что поджидающие кого-то козаки невеселы.

Андрий Крук стоял, опершись на свою дубинку, и в мрачном безмолвии глядел, не спуская глаз, на приближающийся челнок; Семен Ворошило о чем-то, по-видимому, рассуждал нерадостном, и левая рука его беспрестанно делала такие жесты, какими, обыкновенно, смертные выражают свою раздражительность, говоря об обманувших их надеждах, приятелях или врагах.

Когда челнок коснулся носом отмели, оба козака сняли шапки и проговорили:

– Будьте здоровы!

– Будьте здоровы! – отвечали Кныш и сечевик. Они посмотрели несколько мгновений друг на друга. Лица сечевика и Кныша были спокойны, глаза их внимательно были устремлены на обоих козаков, и только.

Лица козаков были заметно угрюмы, а глаза не то, чтобы избегали встречи с приплывшими приятелями, но как-то или разбегались, или прятались под нахмуренные брови.

– Челнок-то вот сюда бы, к этой сторонке, – угрюмо проговорил Семен Ворошило.

И с этими словами усердно принялся помогать Кнышу тащить челнок.

– Маруся, – сказал Андрий Крук, вынимая из-за пазухи узелок, – вот мать тебе прислала.

И он подал ей посылку.

– Спасибо, – ответила Маруся, – что они там? Все здоровы?

– Все здоровы. И ничего, все сошло благополучно.

– А мне гостинца никакого не будет? – спросил сечевик. – Коли принесли, то, будьте ласковы, дайте, а коли нет, то так и скажите.

– Были мы всюду, – начал Андрий Крук, – да не так-то все делается, как...

– Мы, ходячи вокруг тех ледачих полупанков, пару чобот стоптали, – подхватил Семен Ворошило. – Сказано: не так и сами паны, как те полупанки!

Челнок был уже на песке, и теперь все четверо стояли друг против друга.

– Так дело не выгорело? – спросил сечевик.

– Оно не то, чтобы совсем не выгорело, и не то, чтобы выгорело, – ответил Семен Ворошило.

– Да вы видели Самуся?

– Нет, Самуся не видали.

– Отчего?

– Да мы ждали его, а он не пришел.

– Отчего же вы сами к нему не пошли?

– Да мы и думали было пойти, а потом рассудили, что его не застанешь, потому он, сказывали, в Киев уехал.

– Так сходка без него была?

– Без него.

– Такую сходку и сходкой срам назвать, – сказал Андрий Крук. – Пришли семь баб да сказали семь рад, а другие сели на колоды, поговорили про пригоды, табаку понюхали, рады послушали, да и до дому пошли!

– На чем же порешили?

– А ни на чем не порешили. Подумаем, говорят; еще надо, говорят, подумать.

– А долго будут думать?

– В ту субботу опять рада сберется.

– Ну, так вот что, панове козацтво: вы, не дожидаячи этой субботней рады, потрудите свои шановные ноги, обойдите кого следует и скажите, что коли к положенному сроку не будет все в исправности, так дело пропадет. А коли теперь дело пропадет, так пусть уж на нас не рассчитывают.

Ни Андрий Крук, ни Семен Ворошило ничего на это не ответили, может, потому, что в эту самую минуту начали раскуривать свои трубки.

Трубки, впрочем, как-то дольше обыкновенного раскуривались.

Наконец, когда уже дым пошел клубом, Семен Ворошило проговорил:

– Оно бы, может, и лучше, кабы пообождать вестей от Бруя и от Попика... Может, оно бы надежней... Уж больше ждали... Уж можно бы еще подождать малую толику...

– Да, оно точно бывает, что поспешишь, да людей только насмешишь, – заметил Андрий Крук, застывая себя целым облаком дыма.

– Скорые-то дела под лавкой лежат, – прибавил Семен Ворошило.

– Оно, разумеется, всякое бывает, – ответил сечевик.

– Кабы тогда не послушались вашего первохода, да не поспешили, так вот теперь бы, может, и не попались в дурни, – сказал Андрий Крук.

– А по моему глупому разуму, так вы потому-то и попались, как вы сказываете, в неразумные, что вы и тогда выбирались, как паньчи за море утят стрелять.

Пока происходил этот разговор, Кныш, не теряя ни слова из него, набрал сухого очерету, зажег костер и мгновенно устроил все, необходимое для варевы кулеша.

Несколько минут длилось молчание.

Потом сечевик, со своим обычным спокойствием, спросил:

– Так на чем же вы порешите, панове козацтво? Снесете вы мой поклон кому надо или нет?

– Да отчего ж, это можно, – ответил Андрий Крук.

– Это можно, – повторил Семен Ворошило.

– Только вот что, – сказал Андрий Крук, – напрасно вы так погоняете...

– Пане Андрий, – ответил сечевик, – нам с вами, надо полагать, не сговориться. У меня, как у той завзятой жинки, что муж ее топил, да не научил, все будет стрижено, а не брито. Киньте вы меня в днепровскую пучину, а я, как пойду ко дну, еще покажу вам пальцами ножницы.

– Горе да и только! – проговорил, как бы про себя, Семен Ворошило.

– А что, скоро кулешом угостишь? – спросил сечевик Кныша.

– Закипает. Садитесь да берите ложки. Все уселись вокруг котелка.

– Что, Маруся, такая старая сидишь? – спросил сечевик.

– Изморилась, должно быть, – сказал Андрий Крук.

– Нет, – ответила Маруся, – я не изморилась.

– Заскучала по своим, – сказал Семен Ворошило.

– Нет, – ответила Маруся, – я не скучаю.

Глаза ее, однако, были с тревогой и тоской обращены на сечевика.

– А вот я ее развеселю, попробую, – сказал сечевик. – Хочешь, Маруся, я тебе еще сказку расскажу, а? Хочешь?

– Хочу, – ответила Маруся.

– Ну, слушай. Я тебе расскажу, как рак по воду ходил! Жил был рак. Отличный рак. И случилось так, что вся вода пересохла около его хаты, и надо, хоть умирай, добыть воды.

Вот рак сидит и говорит:

– Кого послать по воду? Кого послать по воду?

– Милости просим, кулеш готов, – провозгласил Кныш.

Все принялись за ужин.

– Такой кулеш, друже, что хоть бы и турецкой царице, так и она бы с пальчиками его съела, – сказал сечевик, откидывая усы за уши.

– Добрый кулеш, – подтвердил Андрий Крук.

– Коли угодил вам, панове, значит, доля еще служит, – сказал Кныш.

– Ну, вот долго так рак думал, – рассказывал сечевик, – кого бы это по воду ему послать, и все никого не подыскивал: тот, думал он, дороги не знает, а вот этот хоть и знает, да ненадежен, один, не женат, так, пожалуй, застрянет где на дороге, другой в церковь редко ходит, так кто его знает, как с ним и связываться, пятый малосилен, у десятого ветер в голове, куда ни кинь – все клин.

– Пойду сам! – порешил рак. Взял посудину и пошел.

Шел, шел, шел... Идет и все кипятится:

– Чего это я так бегу! Эх, сбили меня с толку вражие приятели! Не будет проку!

– Кабы в этот кулеш да еще перцу! – сказал Семен Ворошило.

– Хорошо бы перцу! – согласился Андрий Крук.

– И ходил рак семь лет по воду, – продолжал сечевик, – на восьмой год пришел, стал перелезть через хатний порог и разлил.

– Э, горемыка! – сказал Кныш. Разлил да и говорит:

– Вот так черт скорую работу берет!

Маруся рассмеялась, Кныш тоже, но Андрий Крук и Семен Ворошило сидели так чинно, как сидят только просватанные поповны.

– Эге! месяц-то уж куда забрался! – сказал Кныш. – Пора.

Все встали.

– Такое, значит, последнее ваше слово? – спросил Андрий Крук сечевика.

– Такое.

– Пока прощайте.

– Счастливо.

– А коли что там у нас порешат, кому весть подавать?

– А вот Кнышу.

– Хорошо. Счастливо.

– Спасибо.

Челнок быстро отчалил, понесся снова по темному Днепру, и песчаная отмель с черными фигурами и угасавшим костром скоро скрылась из виду.

XIX

Через три дня после описанного плавания по Днепру было воскресенье, и в городе Гадяче глухо гудели старые колокола, призывая жителей к заутрени.

Чуть только светало, и город Гадяч со всеми своими узенькими улицами, низенькими постройками и густыми садиками точно, казалось, повит дымкой. Даже фигуры, стекавшиеся со всех сторон к собору, и те представлялись как бы укутанными в дымку.

Впрочем, невзирая на эту предрассветную мглу, все-таки очень легко было распознать и по походке, и по всей манере держаться, что здесь, по большей части, люди ратные.

Накануне шел дождь, теперь в воздухе была влажность и повсюду тишина величайшая.

Такая тишина, что издали были слышны шаги по мокрым улицам и переулкам; нога, ступившая неосторожно в лужу, производила звонкий всплеск, и капли, скатывавшиеся с садовой листвы, капали так явственно, что их можно было считать.

На церковной паперти, чрезвычайно походившей на садик, потому что тут не только цвела калина, черемуха, бузина, шиповник, розаны, кизильник, белые, желтые и розовые акации, но в изобилии росли яблони, груши, сливы, вишни, черешни, а сочная, бархатистая, мягкая трава пестрела всевозможными садовыми цветами и зельями, собралось уже порядочное количество православных и в ожидании заутрени толковали про разные житейские дела.

Знакомый читателям бандурист с своею поводыркой тоже был тут. Он сидел на нижней ступеньке церковного крыльца и поучительным, несколько протяжным голосом рассказывал помещавшимся около него повыше и пониже на ступеньках и стоявшим перед ним полукругом козакам и козачкам, как и какие мытарства должна проходить душа для того, чтобы попасть в царство небесное.

Закончив сказание о последнем мытарстве глубоким вздохом, которому завторила большая часть слушателей, бандурист погрузился на несколько минут в благочестивые размышления и задумчиво поводил глазами по начинающим понемногу выступать из мрака окружающим предметам.

Всеобщее безмолвие было прервано двумя подошедшими молодыми козаками, отличавшимися необычайно длинными усами, необычайно тонким и гибким станом и какою-то особою щеголеватостью и развязностью, которая приобретает частым участием в многочисленных собраниях, больших пирах и всяких таких парадах.

– Здравствуйте! – сказали козаки и так ловко сбросили и снова накинута шапки, словно этим только и занимались всю свою жизнь.

– А что, пан гетман будет? – спросило хором несколько голосов.

– Будет, – отвечали козаки.

Эти слова, сказанные звучными и громкими голосами, как бы пробудили бандуриста из благочестивой задумчивости, и он, как бы с сожалением оставляя горный мир, где витал мыслию, счел долгом своим снизойти к интересам прочих смертных.

– Поглядят и мои очи на ясного пана гетмана, – сказал он.

– И гетманша будет? – спросила вертлявая, маленькая, кругленькая, похожая на узелок, молодича.

– И гетманша будет, – ответили козаки.

– А братчиха?

– Надо думать, и братчиха будет.

– А это какая же такая братчиха? – спросил бандурист.

– Гетманского братчика жинка, – ответило несколько голосов, – Мефодиевна.

– Мефодиевна? – повторил бандурист. – В наших краях ничего про нее и не слышно. Что ж она в милости, что ль, у пана гетмана?

– Еще бы не в милости! – ответила узелкоподобная молодича. – Она только бровью поведет, так все сейчас по ее делается!

– Так в большой милости? Бывает, дает Господь Бог такое счастье людям! – заметил бандурист, – бывает!

– Да что это вы толкуете: «в милости, в милости!» – отозвался старый, седовласый старик, у которого глаза сверкали из-под косматых бровей, как ярко освещенные окошки из-под взъерошенной соломенной кровли. – Она такая, что милостей ничьих не просит. Вы поглядите только на нее: пряма, как стрела; видно, что отроду ни разу ни перед чем спины не гнула и головы не клонила!

– Что ж, горда? – спросил бандурист. – Приступу к ней нет?

И тут же прибавил нравоучительным тоном:

– Гордость – грех. Человек гордый, что пузырь водный: сегодня вздулся, а завтра лопнул!

– Какое, приступу нет! – возразила какая-то старуха, высокая, прямая, с блестящими, как черные алмазы, глазами, – да она словно палючая искра, где ни появится, куда ни попадет, так все вокруг нее и вспыхивает!

– Подождла и пана гетмана? – спросил бандурист, снисходительно переходя из нравоучительного, для обыкновенных слабых смертных несколько стеснительного, тона в шуточный.

– У нее и что ни на есть сырое дубье вспыхивает, – отозвался кто-то, сидевший тоже на ступеньках церковного крыльца, но довольно далеко и не видный за рядами высоких шапок и широких плеч. По голосу, впрочем, можно было с достоверностью сказать, что отозвался человек молодой, крепкий и здоровый, потому что голос этот с успехом мог бы заменить старый шипящий и свистящий соборный гадячский колокол.

– Что ж, пан гетман дарит ее всякими дарами, атласами и *аксамитами*¹⁵? – спросил бандурист. – Ходит она, небось, краля-кравей?

– Ее раз козак встретил, так попросил коня напоить! – ответила старуха с алмазоподобными глазами.

– Она ходит, как простая молодича, – подтвердил один из щеголеватых козаков, с необычайно длинными усами, необычайно тонким и гибким станом, – ей, хоть и старайся, так никак не послужишь, потому что она все сама умеет и все сама делает. Она никаких подарков не принимает.

¹⁵ Аксамит – бархат.

– А муж ее что за пан? – спросил бандурист.

– Ничего, с виду пан, как пан.

– И живут между собой дружно?

– Дружно.

– Он хоть с виду-то и ничего, а тонкая штука, – сказал пожилой козак, стоявший около бандуриста, опершись на свою дубинку, который и сам был с виду хоть и ничего, а тоже тонкая штука.

– А какие это у вас около Гадяча бородатые паны разгуливают? – спросил бандурист. – Вчера, как подходили мы к городу, так встретили двоих – этакие вельможные да гордые, одна пыха! Глаза этак вкось да под поволоку, носы вверх, губу нижнюю на сажень вперед...

– Это московские паны, гости пана гетмана, – объяснил молодой гетманский козак.

– Теперь еще поразъехались, – заметил его товарищ, – а прежде их еще больше у нас гостило.

– Поразъехались? Чего ж так?

– Да кто его знает, как-то уж теперь не то, что было прежде. Пан гетман и потчует их, и ласковые речи говорит им, а все не то. Слышно, и последние скоро уедут.

Наступило молчание и длилось несколько минут.

Слышны были шаги по улицам, паденье дождевых капель с садовой листвы. День занимался. Все освещалось, выступало из мрака, принимало свои настоящие очертания, точно кто понемногу приподнимал мглистое покрывало.

Справа раздалась медленная, мерная, уверенная походка, и между деревьями появилась высокая, видная фигура в темной рясе, направляющаяся к церковным дверям.

– Вот отец Михаил! Вот отец Михаил! – пронеслось между народом; кто сидел, поднялись с своих мест, кто стоял, опершись на дубинки, выпрямились.

Отец Михаил был, если можно так выразиться, чрезвычайно картинен. Почтенная осанка, строгие черты лица, смягченные кротким и ласковым выражением, седая, волнистая, похожая на каскад борода, спокойные движения, пронизательные, светлые и, в то же время, совершенно безмятежные, сияющие глаза; все это представляло идеальный тип пастыря, каких приходится встречать чаще на картинах, чем в жизни.

По тому, как его все окружили, можно было заметить, что он пользовался большим уважением своих прихожан.

Бандурист тоже подошел под благословенье и подвел своего поводыря.

– Благословите, батюшка, – сказал он, – мы из дальних мест, пришли помолиться в бого-спасаемый город Гадяч. Благословите, батюшка, и поводырку мою. Стараемся, батюшка, жить по-христиански, друг другу помогаем. Я не из одной печи хлеб едал, всего повидал на долгом веку, так вот могу ее наставить на путь житейский истинный, а у нее резвые молодые силы, так она меня, старого, где под горку сведет, где на горку поддержит... Надо помогать друг другу. В Священном Писании сказано: «Носите тяготы друг друга». Одною рукою и узла не завяжешь...

Отец Михаил, спокойно и кротко внимавший речам словоохотливого бандуриста, при последнем его выражении не то, чтобы встрепенулся – этого нельзя было положительно утверждать, – а как-то особенно пристально взглянул ему в глаза.

– Да, – продолжал словоохотливый бандурист, – сказано: одна головня и в печи гаснет, а ворошок и в поле курится.

Светлые, ясные глаза отца Михаила все так же пронизательно, пристально, кротко и безмятежно глядели на бандуриста.

– Хорошо реке с притоками, хорошо доброму воеводе с...

– Разумные речи говоришь, – прервал спокойно отец Михаил, – все доброе на земле держится согласием православных, и каждый, по мере сил своих и умения, обязан помогать ближнему. Издалека Бог принес к нам?

- Да почти что всю Украину исходил, пока сюда добрался.
- Трудно теперь по дорогам?
- Голому разбой не страшен, всюду проходили благополучно.
- А каковы жита?

Отец Михаил спросил это тем же ровным, спокойным голосом, но с какою-то особой медленностью и внятностью.

– Такие жита, что хоть зелеными жать, так можно, – ответил странствующий бандурист своим обычным, беспечно-наставительным тоном, который вошел у него, казалось, в привычку, но тоже как-то особенно внятно и медленно.

– Пан гетман! Пан гетман! – вскрикнули щеголеватые козаки.

Все обратили глаза в ту сторону, откуда слышался стук колес и топот борзых коней.

Отец Михаил прошел в церковь.

Вид пана гетмана и пани гетманши был внушительен, как следует: атласы, оксамиты, золотые запястья и вышивки, драгоценные камни и яркие цвета достойно соединились с вельможной тучностью, спесивостью, развалистою походкой и изнеженным, бледным цветом лица.

Они величаво, как две тяжело нагруженные ладьи, проплыли во внутренность церкви, милостиво кивая головами в ответ на почтительные низкие поклоны простого люда.

Невзирая на эту величавость, некоторые, вероятно, ближе и лучше изучившие пана гетмана, нашли в нем, на этот раз, что-то необычное.

– Пан гетман сегодня пасмурен! – сказал один.

– Пан гетман сегодня невесел! – сказал другой.

– Что это пан гетман начинает задумываться? – задал вопрос третий.

– Я его встретила в четверг, ехала с хутора, – вмешалась круглая крохотная молодичка, похожая на узелок, – так он такой ехал, точно хмара! Поводья опустил, голову наклонил, а брови так чуть не перекрестились! И такой он был...

Но дальнейшее описание прервалось появлением новых двух лиц.

– Братчиха! братчиха! – прошумело кругом. Бандурист обратил глаза на братчиху.

Сравнение с «палючею искрою» было сравнение не дурное, а предположение, что эта прямая, как стрела, спина отроду ни перед кем не гнулась, что эта смелая голова никогда ни перед кем не клонила, имело, несомненно, много вероятия.

Когда братчиха ступила на ступеньку церковного крыльца, поводырка странствующего бандуриста остановила ее тихонько за широкий рукав сорочки.

– Пани, – сказала поводырка, – хустку обронули.

И протянула ей красную хустку.

Высокая стройная фигура приостановилась, обернулась, глянула на красную хустку, на державшую ее девочку, взяла хустку и сказала:

– Спасибо, дивчина.

Видно было, что нервы у нее были крепкие, что она не вздрогнет при какой бы то ни было неожиданности, не вскрикнет от какого бы то ни было испуга или изумления, что темные, большие, глубокие, как море, глаза прямо глянут на все и так же мало померкнут или зажмурятся, как яркие звезды, озаряющие с высоты грешную землю.

– Как тебя зовут, моя ясочка? – спросила она. – Ты, кажется, не здешняя?

– Нет, я издалека.

– Издалека? То-то ты такая изморенная! Откуда же ты?

– Ей и не припомнить всех сел и хуторов, через которые мы проходили, ласковая пани, – вмешался бандурист. – Повидали мы всего: и добра, и лиха, и правды, и кривды, бродили по берегам и по болотам; ну, да, благодаренье Господу милосердному, выбрались-таки на добрый шлях. Криво запрягли, да прямо поехали.

– Ну, и слава Богу, – ответила братчиха. – Вы придите на гетманский двор, – прибавила она, – пан гетман и пани гетманша любят слушать божественные псалмы.

С этими словами она скрылась в дверях храма.

Когда она скрылась, тогда стал очень заметен стоявший тут и внимательно слушавший пан братчик, о котором старый козак говорил, что он с виду ничего, а тонкая штука.

– Приходите на гетманский двор, – повторил пан братчик.

Бандурист низко поклонился и ответил:

– Спасибо ласковому пану за милость. После службы сейчас придем.

Из внутренности собора уже раздался спокойный сильный голос отца Михаила, запахло ладаном, грянул хор голосистых певчих.

Заутреня началась, и все разом двинулись в старое соборное здание, задевая локтями и плечами многочисленных чертей, подкладывающих уголья под грешников и грешниц, пручающихся, с разинутыми ртами и выпученными глазами, на огне и, таким образом, наглядно представляющих страшное будущее тех слабых смертных, которые не в силах противостоять земным соблазнам.

XX

День был томительно зноен, несмотря на то, что капли вчерашнего, обильно пролившегося дождя искрились на траве и какая-то молодая, чернобровая козачка, разговаривая с чернобровым и молодым, как сама, козаком, поверявшим ей, по всем видимостям, какие-то чрезвычайно для него интересные и важные вещи, вдруг обдала своего собеседника градом теплых, чистых, сверкающих капель, незаметно потянув густолиственную, цветущую ветку старой, раскинувшейся широким шатром калины, под которой они стояли.

Испуганный козак подскочил с несвойственной ему, судя по средоточенному и решительному виду, какой представляла до того его физиономия, стремительностью, а лукавая красавица звонко захохотала, отирая вышитым рукавом белоснежной сорочки свежую щеку, на которую тоже попали брызги.

Гадячские улицы издали представляли из себя подобие черных бархатных лент, перехваченных местами блестящими запястьями и отороченных ярко-зеленою бахромой, вблизи – размягченный дождем чернозем, окаймленный густою муравой и испещренный довольно глубокими лужицами.

Беспреданно слышался стук отпираемых и запираемых дверей, и в воздухе далеко разносились разноголосые приветствия, которыми встречали хлебосольные хозяева своих праздничных гостей.

Не только ослепляло солнце своим золотым блеском, но ослепляло и небо своею яркою лазурью, отчего черные тучи, надвигавшиеся с запада, казались еще чернее и края их вырезывались еще резче.

– К ночи будет сильная гроза, – проговорил пан гетман.

И проговорил это пан гетман с таким беспокойством, и при этом такой тяжелый вздох вырвался у него из груди, что сидевший напротив него на рундуке¹⁶ за столом русобородый московский боярин спросил:

– Пан гетман, видно, боится грозы?

– Проявление силы Господней, а потому каждый христианин должен трепетать, – ответил пан гетман задумчиво.

– Господь милостив, авось помилует! – сказал московский русобородый боярин. – А тучи надвигаются большие!

¹⁶ Рундук – крытое крыльцо, род террасы.

– Да, большие, – подтвердил пан гетман, взглянув рассеянно на темную гряду облаков, которые быстро надвигались на яркую синеву неба.

Пан гетман каждое слово выговаривал как-то вяло, неохотно, часто проводил пальцами по лбу, словно чувствовал тут какую несносную боль; потускневшие глаза его обращались все куда-то вдаль, на всем его полном, откормленном лице, да и не только на лице, даже на всей массивной, ожиревшей фигуре лежал отпечаток какой-то внутренней тревоги и утомления, – утомления, явившегося, быть может, следствием вышепоименованной тревоги, невыносимой для изнежившегося пана.

Насколько пан гетман был вял, рассеян и озабочен, настолько же его собеседник и гость, русобородый московский боярин, был оживлен, юрок и беспечен.

Массивная, неповоротливая фигура пана гетмана казалась еще массивнее и неповоротливее в сравнении с его плотной, но вертлявой и гибкой фигурой, полузакрытые глаза пана гетмана еще тусклее и безжизненнее в сравнении с его разбегающимися во все стороны, пытливыми, блестящими глазами.

Когда он снова повторил, вскинув беспечно своими блестящими глазами на двигавшиеся тучи и поглаживая белой рукой свою русую бородку: «Авось Господь помилует», – он как бы выразил эту фразой весь свой характер.

Можно было наверное сказать, что в нем хватит и сметливости, и находчивости, и проныцательности на десятерых, но что над всем этим преобладает беззаботное «авось», которое заправляет всем остальным.

Можно было поручиться, что в виду, например, переправы через пропасть по тонкой, пляшущей жердочке, он отлично поймет и сообразит все последствия подобной переправы, но, встряхнув кудрями, скажет: «Авось, переберусь!» и отправится.

И не только в том случае, если благополучно переберется, но даже в том, если поломают кости, но уцелеет голова, он опять при первой же оказии так же тряхнет кудрями, так же скажет: «Авось, переберусь» и так же беззаботно отправится.

– Все мы люди грешные, – возразил пан гетман, – и никто из нас не может сказать: сегодня я не получу за грехи свои должного возмездия!

Пан гетман сказал это докторальным тоном, каким обыкновенно говорятся подобные вещи, но в докторальности его проглядывала скорее раздражительность трусливого вельможи, чем сокрушение христианина.

– Господь долго грехам терпит, – ответил московский боярин, видимо считая своею обязанностью при этих словах поднять свои блестящие, живые, разбежавшиеся во все стороны глаза к небу, но на полпути к сияющему эфиру опуская их на вившуюся по широкому двору тропинку, по которой медленно приближался старый бандурист с загорелой девочкой в венке из свежих цветов.

Глаза пана гетмана, искоса устремившиеся на собеседника, в ту же минуту обратились по направлению его взгляда тоже на тропинку, и странно подействовало на него появление старого бандуриста: вялое апатичное лицо вдруг вспыхнуло, потом побледнело, и губы слегка задрожали; он поспешно провел рукою по лбу, заморгал и тревожно, пытливо глянул на московского боярина, как бы желая прочесть на его лице, не закралось ли к нему в душу какое подозрение.

Но лицо московского боярина, на котором, кстати сказать, читать было возможно только с его боярского позволения, ничего не выражало, кроме того праздного, скучающего любопытства, какое одолевает людей, долго проживающих в глуши и уединении, или долгое время вращающихся в среде, давным-давно ими вдоль, поперек и насквозь узнанной и не представляющей уже для них ровно никакого интереса.

Не нашед на лице московского боярина ничего для себя знаменательного, пан гетман опустил ресницы на свои руки, сложившиеся тем манером, каким они складываются у духов-

ных или у очень набожных особ, получивших привычку не только к молитве, но и к сценическому, если можно так выразиться, ее проявлению, и в этом положении впал, казалось, в глубочайшую задумчивость, или, точнее, в набожные размышления, уносящие из мира грешной действительности в мир горний, который благочестивое воображение щедро населяет двукрылыми ангелами и херувимами, шестикрылыми серафимами, чудесным блеском, божественным сиянием и райскою музыкой.

И так глубоко задумался пан гетман, так всецело унесся в иной, лучший мир, что московский боярин должен был дважды повторить:

– Пан гетман, нищие пришли. Пан гетман! Пришли нищие!

Пан гетман, наконец, очнулся, обратил глаза на пришедших нищих, милостиво наклонил свою вельможную голову в ответ на их низкие, чуть не до самой земли, поклоны, позвал козака, стоявшего, в ожидании гетманских приказаний, за дверями, и протяжным, благодушным голосом отдал распоряжение угостить пришельцев.

– Позволит ли ясновельможный пан гетман сыграть и спеть старому бандуристу? – почтительно спросил старый бандурист, сопровождая каждое слово или низким поклоном, или таким смиренным взглядом, который стоит всякого низкого поклона.

Пан гетман милостиво позволил и пригласил усталого певца сесть.

Пан гетман даже простер свою милостивую внимательность до того, что указал белою вельможною рукою на место, где сесть, прибавив:

– Тут не печет солнце.

Бандурист, выразив с подобающим почтением свою смиренную признательность за милостивую ласку ясновельможного пана гетмана, сел на указанном месте, на ступеньку, в углу рундука, и очутился совершенно в тени; московскому боярину, довольно внимательно рассматривавшему старого нищего, остались видны только часть его седой бороды, могучее плечо, покрытое ветхой и грубою, но белою, как только что выпавший снег, полотняною сорочкой, да носок громадного сапога, являвший выразительные следы постоянных путешествий и по пыльным, и по грязным дорогам; вся фигура и лицо только мелькали пыльными пятнышками сквозь зеленую частую сеть мелколистой старой груши, так низко раскидывавшейся над всем рундуком, что некоторые ветви касались пола своею блестящею зеленью.

– Надень шапку, старче, – сказал милостивый пан гетман.

Московский боярин, как бы машинально приподнявший грушевую ветку, опустил ее опять, тоже как бы машинально, и обратил глаза на девочку, спутницу старого бандуриста.

Ее московскому боярину удобно было рассматривать: она поместилась как раз напротив, да еще, кроме того, солнечный луч падал на нее сверху.

Бандура заиграла, и пенье раздалось.

«Ой раю пресвітлий, ой раю прекрасний!» – пел благочестивый старец.

При первых же звуках показалась вельможная пани гетманша и пани братчиха, которые тихо заняли места поодаль и тоже стали слушать торжественное пенье псалмов.

Обе женщины сидели со сложенными руками, в одинаково смиренной позе, с опущенными в землю глазами, являя собою тип знатных невольниц, но, по всем вероятностям, никогда две личности одного пола и почти одного возраста не представляли столь совершенного контраста.

Красивое барское лицо вельможной пани гетманши носило на себе яркую печать долгой скуки и тоски, часто развивающихся при роскошной бессодержательной жизни, и, кроме того, что-то вроде того недоуменья, какое является у детей после того, как талантливый учитель искусно объяснил им непонятный, дотоле казавшийся несносным, но внезапно, неожиданно исполнившийся интереса, урок, степень того детского, неопытного, непривычного раздумья, которое еще не может итти далее тревожных: «как же это?», «неужто!», «так вот как!», и бес-

покойство мирной домоседки, нечаянно пустившейся в неизвестный, преисполненный опасностями, путь.

Лицо пани братчихи отличалось спокойствием, но это спокойствие можно было сравнить с спокойствием знойного летнего дня, какой тогда был: все цветет, благоухает, дышит тысячью жизней, нет порывов ветра, не слышно громовых раскатов, не сверкает молния, но вы знаете, что мгновенно может все кругом потемнеть и может разыгаться такая гроза и буря, которая многое уничтожит из окружающей цветущей прелести.

«Ой раю пресвітлий, ой раю прекрасний», – пел старый бандурист.

– Девочка, как тебя зовут? – спросил московский боярин маленькую спутницу седовласого певца.

У московского боярина голос был вообще мягкий, но теперь, когда он понизил его, вероятно, не желая мешать прочим наслаждаться пеньем псалмов, он стал совсем бархатный; лицо у московского боярина было вообще приветливое, но теперь, вероятно, для придания бодрости маленькой нищенке, к которой он удостоил обратить свое боярское милостивое слово, оно превратилось в одно ласковое добродушие и, казалось, говорило: «Коли ты умница девочка, так уж у меня за пряниками дело не станет!»

Невзирая на это, ясные глаза девочки обратились на московского боярина недоверчиво; она ничего не ответила на его ласковый вопрос и, по-видимому, нисколько не польстилась на великие посулы, которые давала ей его выразительная физиономия.

Московский боярин снисходительно повторил свой милостивый вопрос:

– Как тебя зовут, девочка? Девочка опустила глаза и ответила:

– Марусею.

– Марусею? – промолвил московский боярин, как бы желая выразить: «Ну, коли Марусею, так это отлично, и тебе горевать не о чем».

– Изморилась, Маруся, а? – продолжал он.

Маруся опять не ответила, и он снова должен был повторить свой вопрос, что, впрочем, его нимало, казалось, не раздражало, потому что, получив, наконец, в ответ: «Изморилась», он с тою же благосклонностью спросил:

– Дорога далекая, а? Вы откуда идете?

И опять дикарка-мужичка не ответила сразу, и опять он с тою же неизменной милостивой благосклонностью повторил:

– Далекая дорога? Вы откуда, а?

– Не знаю.

В эту минуту голос старого певца смолк и раздался только один приятный, звонкий ритурнель на бандуре.

Пан гетман, до сих пор всецело отдавшийся слушанью божественного псалма, как бы очнулся, поднял голову, и глаза его встретились с глазами именитого гостя.

– Душеспасительно послушать! – промолвил пан гетман, как бы про себя.

– Душеспасительно, – подтвердил именитый гость.

Затем, вставая с места и обращаясь к бандуристу, он спросил:

– А не знаешь ли ты, любезный человек, как поется стих про разбойника придорожного?

– Нет, вельможный пан, не знаю такого, – ответил бандурист. – Вот про поповича знаю, и про невольника знаю, и про вдову...

– Ты поучись про разбойника: хорош стих! – перебил московский боярин. – Славные гусли какие у тебя! А ну-ка, дай поближе поглядеть.

– Извольте, вельможный пан, глядите, – отвечал добродушный бандурист, подавая бандуру боярину.

Повертывая в руках нехитрый инструмент, боярин присел около старого певца, ступенькой повыше, и опять повторил:

– Славные гусли! Славные гусли!

Расхваливая гусли, он глядел, однако, не на них, а прямо в лицо их владельца.

Но владелец, хотя человек по всем видимостям чрезвычайно скромный, нимало, однако, не смущался пристальными боярскими взглядами.

С подобающим почтением, но совершенно свободно, объяснял он любознательному боярину устройство своего инструмента и не только не выказывал желанья прекратить часто смущающий простого человека разговор с высокопоставленной особой, но даже увлекался и вводил в свою речь совсем посторонние эпизоды, как из своей страннической жизни, так и из жизни своих товарищей по искусству.

– Вы не знали Семена Бруя? – добродушно спрашивал он. – Неужто не знали? Эдакий высоченный, чернобровый старик, длинный эдакий носина и крив на левое око? Так-таки вы его нигде и не встречали? Дивно мне. Его, куда ни пойдешь, везде встретишь. И не знаете его? И не слышали про него? Он мне встретился на той неделе в Бобриках. «Э! – говорю, – беса тешишь, Семене?» А он, видите, добродию, играет молодежи «Добру жинку». Он, добродию, бедовый человек: на троих женат был... Так вот у него бандура чудовая! Из такого дерева, добродию, эта бандура сделана, что играет, что хочет. Сам, добродию, своими, вот этими ушами слышал (при этом бандурист дотронулся до своих ушей), как Семен говорит: «Спою вам про Ярему», – хват! бандура играет про Голоту! Колдовская бандура! Ее, говорят, колдун и делал. И уж у кого совесть не чиста, тот лучше и не подходи слушать – опозорит на всю громаду! Так и начнет наигрывать: «Ты вор, ты чужих женок обольщаешь, ты постов не держишь!» – одно слово: что кому следует, тем и угостит.

– И тебе наигрывала эта бандура, любезный человек? – спросил боярин, слушавший бандуриста с благосклонным вниманием.

– И мне наигрывала, добродию.

– Что ж такое тебе она наигрывала? Небось: «Человек Божий, правдивец переходной!» Э?

– Нет, добродию, – со вздохом сердечного сокрушения ответил бандурист, – нет! Я человек грешный. Дело тогда было в пятницу, пришел я издалека, изморился, голодный такой, что меня свело в три погибели, и попутал меня бес... Попутал, добродию, попутал! Захожу в шинок, выпил чарку, осматриваюсь – колбаса лежит. И такая колбаса, добродию, что и не сказать! И глядит эта колбаса прямо на меня – ей-богу, добродию, так вот и глядит, так вот и глядит... И слышу, шепчет мне: «Съешь, съешь, отроду такой не пробовал». Я туда, сюда – нет! чую, по губам меня мажет, эдак тихонько, так что живот замирает... И съел я, добродию. Сам не знаю, как съел, а съел... И что ж вы думаете? Только что я подошел, Семенова бандура и давай нажаривать: «Колбасу ел, колбасу ел, колбасу, колбасу, колбасу...» Так я и сгорел от стыда... Так и сгорел...

– А как думаешь, любезный человек, коли у кого нет колдовской бандуры, так тому уж и не узнать, что ты ел колбасу, а? – с милостивою шутивостью спросил боярин.

– В Священном Писании сказано: «Нет такого тайного дела, чтобы оно, рано или поздно, не вышло на чистую воду», – отвечал бандурист, – а все-таки мы, грешники (я не про вас это, добродию, говорю), вдоволь настраиваем всяких тайных штук! Иной такой строитель весь свой век такие хоромы выводит, что бес от радости только за живот хватается, а все шито и крыто. Но, – прибавил бандурист докторальным, торжественным тоном, – коли не на этом, то на том свете всякому злему деянию воздается должная плата.

– Платят иному и на этом свете, – заметил боярин не столь докторальным, как значительным тоном.

– Платят, добродию, платят, – ответил бандурист ничуть не знаменательным, но просто тем довольным, торжествующим тоном, каким благочестивые люди предсказывают кару язычникам и грешникам.

– Платят, платят, – повторил боярин.

Казалось, боярина, праздного и скучающего, очень занял странствующий певец и беседа с ним забавляла капризного в своих благосклонности и презрении вельможу.

Пан гетман, сидя по-прежнему, с сложенными руками, однако, не представлял уже человека, унесшегося в мир горний – совершенно напротив: его, казалось, обуяла страшная тревога, и от времени до времени, пользуясь тем, что именитый гость стоял к нему спиной, он обращал, как бы взывая о помощи, испуганные глаза на пана братчика, тихо вышедшего тоже на рундук и спокойно, по-видимому, слушавшего беседу боярина с бандуристом, и своим спокойствием как бы говорившего пану гетману:

– Пока еще ничего, пока еще нечего пугаться. Увидим, что дальше будет.

Но еще чаще пан гетман обращал взывающие о помощи глаза на пани братчиху и, получая на свои десять растерянных взглядов один, приводящий его мгновенно в себя, тихонько вздыхал, потирал лоб рукою и старался принять вид, приличный мужу высокого сана.

Пани гетманша, видимо не разумеющая, но инстинктивно чувствующая, что все тайно заняты чем-то важным, что где-то кроется близкая опасность, некоторое время наблюдала за всеми, но потом, как бы сознав тщету своих наблюдений, снова погрузилась в смиренную задумчивость, представлявшую большое сходство с дремотой.

Неизвестно, долго ли еще продлилась бы беседа боярина с странствующим певцом, если бы пани братчиха не встала с своего места и, проходя в сад, не потревожила боярина, который как раз поместился на дороге.

– Позвольте пройти, – сказала пани братчиха с почтительным низким поклоном.

Боярин поспешно, даже стремительно дал ей дорогу, красивое лицо его заметно вспыхнуло, и он, как бы застигнутый врасплох чем-то неожиданным, долго смотрел вслед стройной фигуре, спокойно исчезающей в густой зелени цветущего сада.

Затем он снова обратился было к бандуристу, но только взглянул на него, а уж не вымолвил ни слова.

Находчивым, сметливым, беспечным боярином вдруг овладела какая-то неотступная забота, но нельзя сказать, чтобы забота только тяжелая, потому что лицо его не раз вспыхивало и оживлялось чем-то радостным.

– А что, давно ты был в Чигирине? – спросил он бандуриста, обратив на его лицо тот неопределенный взгляд, которым смотрят люди, всецело занятые своими делами и только машинально произносящие какие-нибудь, утратившие для них интерес, слова.

– Э, в Чигирин теперь трудно пробраться, добродию, – отвечал бандурист, – повсюду войско, ляхи, татарва... По всему шляху так и зыгзают пули... Кому белый свет опостылел, тот пусть только туда двинется – его дело справлено. Я, признаться, и то перетрухнул порядком. Наслушался всяких таких рассказов про тамошнюю резню от одного земляка, Ивана Дудника, иду и раздумываю: «А что, коли на меня наскочит какой-нибудь нехрист?» И вдруг слышу, земля гудет. Глядь, прямо на меня несется что-то черное. А я шел степным шляхом, кругом только степь без краю. Вижу я, несется что-то черное, а за ним другое, за другим третье, пятое, десятое – мне померещилась целая орда. Ну, думаю, пришел мой конец! А все-таки, присяду в траву – может, пронесет их дидько¹⁷. И пластом, эдак, на землю растянулся и лежу – не дышу, а сам думаю: «А ну, как растопчут?» И вот слышу, храпит что-то около самого моего правого уха и траву рвет, и все ближе, и ближе, ближе. Я так и замер... Только что я выговариваю: «Господи! отпусти мои согрешения!», – как меня кто-то рванет за чуб. Я рявкнул на всю степь... Что ж вы думаете, добродию? Это какая-то проклятая телка такого страху мне задала и чуть чуб не откусила. Из погорелых хуторов весь скот загнали в степь, и скот этот тут одичал. Телки затеяли игру, побегали себе, да и стали пастись, и одна вот чуть не попаслась моим чубом... Перетрухнул я тогда! Вот уж правду-то говорят, что у страха очи по яблоку! Да

¹⁷ Дидько – леший, черт.

как его не испугаться, коли страшно? И не хочешь, да испугаешься. И самые храбрые храбры только до поры, до времени. Вот был у меня земляк, он уж теперь умер, царство ему небесное, место покойное, пускай его душенька там прохладается между райскими цветами да сладкими медами! – и земляк этот ничего на свете не боялся. Только раз...

Тут боярин, слушавший всю предыдущую речь рассеянно, перебил старого бандуриста.

– Девочка твоя изморилась, – промолвил он.

– Изморилась, добродию, – ответил бандурист.

– На тебе грошик, купи себе пряник, – сказал боярин девочке.

Он протянул ей несколько монет.

– Что ж ты не берешь? Ты живая или каменная, а?

Девочка сидела все время так тихо и неподвижно, что ее в самом деле можно было принять за каменную, если бы не ее ясные глаза, да не живой, ярко вспыхнувший на загорелых щеках румянец.

– Благодарю, Маруся, благодарю пана, – сказал бандурист. – Она у меня застенчивая, добродию, глупая; вы ее простите... Благодарю пана, благодарю!

Маруся встала и поклонилась.

Но благосклонный вельможа, наградивший ее щедрым подаянием, уже не видал этого благодарственного поклона.

Как бы движимый какой-то непреодолимой силой, он направился к дверям во внутренние светлицы.

На пороге он, однако, остановился, оглянулся на пана гетмана, ясно увидел на его лице то выражение, какое бывает у человека, наконец освободившегося от душившей его петли, отлично уразумел это выражение, взялся рукой за притолку, как бы желая удержаться этим искусственным средством на своем посту, и на губах его появилась улыбка, выразительно говорившая:

– Эх, вы! вам ли обморочить меня?

Но в это время из глубины сада донеслось пение. Мягкий, низкий голос пел украинскую песню:

Тиха вода береги понімає,
Великий пан до мене прибуває
А у мене думу
Як на морі шуму

При первых же звуках этого голоса боярские пальцы, сначала так крепко уцепившиеся за притолку, что совершенно побелели, вдруг ослабели, разжались, на боярском лице мелькнуло: «Пропадай все на свете, а я упьюсь этим хмелем!», и, тряхнув своими роскошными русыми кудрями, боярин скрылся.

XXI

– Что, далеко еще итти? – спросила Маруся.

– Утомилась, ясочка? – спросил сечевик.

– Нет, не утомилась. Я только хочу знать, далеко ли еще итти.

– Не далеко. Вон видишь впереди, направо, лес? В этом лесу мы и отдохнем. Да, может, утомилась, а?

– Нет, нет, право, нет!

Но он все-таки наклонился и заглянул нежно и заботливо в загорелое личико.

– Не утомилась? – повторил он. – Кто лукавит, знаешь, что тому бывает на том свете? Не доведется тебе горячую сковородку лизать, а?

– Не доведется, – ответила Маруся, и белые ее зубки сверкнули из-за свежих уст.

Подумав с минуту, она обратила свои темные сияющие глаза на спутника и прибавила:

– Да я лучше лизну, чем останавливаться!

– Я полагаю, лучше вот так сделать! – ответил он.

И, наклонившись, поднял юную софистку на руках и понес ее, как легкое перышко.

– Нет, нет... – вскрикнула она. – Я сама пойду, я сама...

Но могучие руки крепко ее придержали, и тихо сказанные слова: «Сиди смирно, моя ясочка!» – уничтожили всякое сопротивление. Она обняла смуглую, как темная, полированная бронза и, казалось, как бронза, крепкую шею и прилегла головой к богатырскому плечу.

День начинал клониться к вечеру, и не было уже полдневного палящего зноя; дорога или, правильнее говоря, тропинка, шла то по полю, по узеньким межам, между высоким, густым, как очерет, житом, то по небольшим дубравкам, преисполненным цветов, гнезд, благоуханий, разногласных и разноперых птиц, радужных бабочек, диких пчел, изумрудных кузнечиков, золотых игл солнечных лучей и прохлады. Время от времени, где-нибудь вдали показывалась колокольня сельской церкви, сверкало озерцо, речка или пруд, расстилался, как темный бархат, широкий луг, виднелась деревня, блистающая белыми хатами, пестреющая цветущими огородами, зеленеющая садами, или белел из-за деревьев одинокий хутор.

– Видишь, сколько *волошек* и *куколю* в жите? – сказал сечевик.

И несказанно мягко было выражение его закаленного и непогодами и суровой жизнью лица, когда он приостановился и показывал уютившейся на его сильных руках девочке бархатистые чашечки синих васильков и малинового куколю, мелькающие между сплошными, прохваченными солнцем, бледно-зелеными колосьями ржи.

– Знаешь что, Маруся? Здесь стоит присесть да веночек сплести! – продолжал он. – Славный веночек будет! Такой славный, что и не сказать!

Говоря это, он бережно спустил девочку на землю, тихонько посадил ее на темную мураву межи и, протянув свою длинную, могучую руку в жито, начал рвать васильки и куколь, оглянувшись на нее с улыбкой и промолвив:

– Ты сиди смирно, Маруся!

Маруся сидела смирно и следила за каждым его движением, а он, время от времени, обращаясь к ней и, показывая цветок, вырванный с корнем непривычною к такому деликатному занятию рукой, смеялся и весело критиковал свое неуклюжество.

– Вот оно! – говорил он, – заставь дурня Богу молиться, так он и лоб расшибет! Ловкий я молодец! Другого такого ловкача и не найти! Пошли медведя гоняться за перепелками, так и медведю, пожалуй, до моей легкости и до моего проворства далеко...

– Довольно, довольно, – сказала Маруся, собирая обсыпавшие ее со всех сторон цветы.

– А может, еще? – возразил сечевик. – Вот славный цветочек – пышный такой, что диво!

Он протянул ей василек, в самом деле отличающийся особою величиною и свежестью, а затем сел с нею рядом и с большим вниманием и интересом начал следить то за работой загорелых ручек, быстро и искусно сплетающих цветы в веночек, то за изменениями личика, наклоненного над этою работой.

– О чем задумалась, Маруся? – спросил он. – Что вспомнила?

Или он был очень хороший чтец физиономий, или хорошо изучил эту физиономию, только он не ошибся.

– Я вспомнила, как мы плели венки дома, – ответила Маруся.

– Тоскуешь по своим?

– Нет, ничего...

Но плетенье венка внезапно приостановилось, потому что большие темные глаза застлались слезами.

– Очень тоскуешь, мое сердце?

Слезы крупные, обильные быстро покатались по щекам, ручки выпустили цветы и быстро закрыли личико, из груди вырвалось тихое рыданье.

Однако она скоро победила это, застигнувшее ее врасплох, волнение и, отирая рукавами слезы, обратила влажные глаза на спутника и повторила еще дрожащим голосом, но уже с улыбкой:

– Нет, ничего...

Чувствуя, однако, что слезы опять набегают, она, все-таки, улыбаясь, прибавила:

– А очень горяча сковорода, которую дают лизать на том свете?

Не получая ответа и видя, что лицо его омрачилось, она тихонько дотронулась до его плеча. Он сказал тогда:

– Тяжко тебе, Маруся?

– Ведь и тебе тяжело, – ответила она, – и всем?

– Да, всем.

– Пойдем.

– Пойдем.

Они взялись за руку и пошли дальше.

Скоро в стороне показалось селение, к которому вела узкая езженная дорога, пересекавшая межу, по которой шли наши путники.

– Видишь, Маруся, село?

– Вижу, – ответила Маруся.

– Большое село?

– Большое.

– Ну, чем больше село, тем больше в нем жен, матерей, сестер и невест, которые плачут, потому что по этой дороге много ушло мужьев, братьев, женихов и отцов на битву, и никто не знает, сколько из них воротится. Времена тяжкие, Маруся, понимаешь?

– Понимаю, – ответила Маруся. Несколько времени они шли молча.

Синевший лес, на который указал сечевик, как на место отдыха, по мере приближенья к нему переходил в зеленый цвет, затем обозначились темные листья дубов и кудрявая зелень берез на опушке.

– Вот мы и пришли, – сказал сечевик, разводя ветки и проникая в чащу.

– Какая тут прохлада! – продолжал он. – Сейчас отыщем уютное местечко и отдохнем.

Пришлось, однако, отыскивать такое местечко дольше, чем думалось; гущина была такая, что нельзя было ступить шагу свободно; кроме древесных ветвей, которые хлестали в лицо, кроме шиповников, которые вцепливались в волосы и в платье и царапали острыми шипами, кроме повалившихся деревьев, которые преграждали путь, перед ними еще расстилались повилики снизу и сети хмелю сверху.

Но сечевик, вероятно, знал, куда идет, потому что не раз приостанавливался, смотрел по сторонам, соображал и снова принимался раздвигать ветви и рвать плетеницы вьющейся зелени.

Наконец, они выбрались на такое место, где можно было свободно стать и сесть.

– Отдохни, Маруся, – сказал сечевик, – таких оксамитов и у самого вельможного пана гетмана не имеется, какие вырастают под этим дубом! Вот иди-ка сюда... И сам дуб ничего себе деревцо.

«Ничего себе деревцо» далеко раскидывало величественные ветки и образовало что-то вроде зеленого храма, где было тихо, темно и прохладно. Лучи солнца сюда не проникали, и

только видно было, как они пронизывали листву окружающих деревьев или падали светлыми пятнами и полосами на их корни и стволы.

Неподалеку от дуба стоял высокий старый пенёк, совершенно потемневший, не являвший никаких признаков жизни, а между тем, на одном сгнившем его боку зеленело что-то.

Марусины глаза очень скоро усмотрели необычайное явление, но Маруся, по-видимому, сделала замечательные успехи в сдержанности после того, как вы видели ее в погорелой деревне, у колодца, где ее поразил вид свежей зелени, плавающей в засоренной кринице, потому что теперь она не только не вскрикнула, но даже слова не промолвила, даже недолго глядела на обративший ее внимание предмет.

Все это не укрылось от зоркого сечевика.

Взяв с верхушки сухого пня еще не завядшую ветку калины, он бросил ее Марусе на колени и сказал с улыбкой:

– С тобою, Маруся милая, можно дела вести. Э! кабы все-то такие дельцы были, как ты!

В эту самую минуту откуда-то из глубины леса донеслось что-то, похожее на крик пугача

¹⁸.

– Рано пугач закричал, так и голоса не выводит, – заметил сечевик. – Добрые пугачи вот как пугают!

Он приложил два пальца к губам, и из его уст раскатилось такое «пугу», которого бы не постыдился самый голосистый из кровных пугачей.

И это «пугу» подействовало: с трех сторон раздались ответные крики птенцов.

– Посиди тут, Маруся, – сказал сечевик, – я скоро ворочусь.

– Хорошо, – ответила Маруся.

Сечевик раздвинул ветви и тиснулся в чашу, но вдруг остановился, обернулся к Марусе и проговорил:

– Не скучай, Маруся!

– Не буду, – ответила Маруся.

Они обменялись улыбками, которые стоили всевозможных слов и ласк, и сечевик скрылся.

XXII

Маруся прислушивалась к тихому треску сучьев и шелесту веток до тех пор, пока они совершенно замерли, затем опустила голову и раздумалась.

Ей было о чем призадуматься: столько неожиданного и таинственного случилось с ней в последнее время, столько важных, всемогущих людей она перевидала!

А главное, столько во всем этом было для нее, все-таки, темного и непонятного!

Она все время точно ходила по краям каких-то невидимых, но живо чувствуемых пропастей.

– И отчего это люди бывают такие недобрые? – думала она.

И в детском, не развившемся еще уме возникал целый ряд тех общественных вопросов, от которых нередко ломит головы самых опытных мыслителей.

Время от времени, измученная этими тяжелыми мыслями, на которые не находилось у нее других ответов, кроме, «воля Божия», «попущенье Божие», она поднимала голову и оглядывалась кругом.

Удивительная лесная тишина и прохлада освежали и нежили ее донельзя измученное, усталое долгими странствованиями и непрерывными душевными тревогами тело, но, в то же время, при ее смятённом состоянии духа, были для нее чем-то вроде пытки.

¹⁸ Пугач – филин.

Никакого ответа не давала эта спокойная, равнодушная природа.

Если сравнение юной, свежей, терзаемой заботами души с цветущей розой, угнетаемой терниями, подходило к кому-нибудь, так это к спутнице бандуриста, которая сидела теперь под наметом старого дуба, чуть видная из-за зелени.

В лесу мало-помалу темнело, словно чья-то невидимая рука надвигала на него шапку. Светлые полосы и пятна, падавшие на древесные корни и стволы, исчезли; только пронизывались еще тонкие стрелки пурпурового заката.

Маруся вдруг вышла из-под дуба, живая тревога настоящей минуты поглотила все остальные тревоги, заботы и недоумения.

– Сказал: скоро ворочусь! – проговорила она. – И ничего не слышно!

Да, ничего не было слышно, как она ни прислушивалась. Зеленый лес стоял кругом стеною; даже птичий крик не нарушал безмолвия этой чащи, даже ветер не шелестел листвою.

Вдруг раздался выстрел, один, другой...

Маруся выпрямилась, как под влиянием электричества.

Еще выстрел.

И все тихо и глухо. Напряженный слух ничего не улавливает.

Так прошло еще несколько времени, сколько именно – неизвестно, но Марусе оно стало за долгое.

Сначала она часто вставала, ходила, прислушивалась, потом, утомившись этими волнениями, осталась на старом месте, под дубом, неподвижно, как изваянная.

Она даже и тогда не поднялась, когда очень явственно послышался шорох, только щеки у нее вспыхнули и глаза тоскливо устремились в ту сторону.

На этот раз надежда была не напрасная; ветки раздвинулись, и знакомое лицо показалось между их заколебавшеюся зеленью.

Но это лицо было до того бледно, что радостный крик замер на устах девочки.

– Маруся, – сказал сечевик, – вот видишь ты, червоная хустка, видишь?

– Вижу, – ответила Маруся.

– Я выведу тебя на дорогу... иди по этой дороге все прямо... Прямо, через дубровку, пока дойдешь до мостика... За этим мостиком будет другая дубровка... и дорожка... ступай по дорожке в эту дубровку... Встретится тебе человек, скажет: «Помогай Боже, Маруся!» – Ты отдай ему эту хустку и скажи: «Бог помогает!»... Слышала?... Будешь помнить, Маруся?...

Он говорил все это внятно, но с чересчур уже большими расстановками; лицо его становилось все бледнее и бледнее, крупные капли пота капали со лба, и стоял он не так, как всегда, не прямо, а прилегая плечом к дереву.

– Иди, Маруся? Ты пойдешь?

– Пойду, – отвечала она. – Что у тебя болит?

– Ничего, Маруся, заживет, мое сердце! Иди... Он взял ее за руку.

– Какая у тебя холодная рука! – вскрикнула она.

– Не до моей теперь руки, моя ясочка. Спешу скорее... Отдай хустку... Сюда... Иди... – сказал он так убедительно и серьезно, что она уже больше не посмела спрашивать.

Он хотел раздвинуть ветки, но не мог. Вид такой слабости в человеке, на которого она привыкла смотреть, как на олицетворение всех сил физических и нравственных, поразил Марусю. Она сама страшно побледнела, но, свято исполняя выраженное им желание, ничего не сказала.

Чьи-то другие руки – мускулистые и грубые – свои, рабочие, как тотчас же признала Маруся, вдруг вытянулись и раздвинули сучья.

– Не бойся, Маруся, – проговорил сечевик, – это мой товарищ... Он только чужих кусает... Правда, Иване?

– Разумеется, правда, – ответил густой бас, судя по которому было легко поверить, что обладатель его, коли захочет, то укусить может.

Вслед за этим ответом Маруся увидела сначала, высоко между листьями, небольшую голову, смуглое лицо с светлыми усами и пару блестящих глаз, а потом длинную мужскую фигуру, которая быстро двинулась вперед, прокладывая перед ними путь.

– Вот это и есть товарищ мой, Иван, – сказал сечевик Марусе. – Видишь, какой: дубы в лесу перерос.

Иван, двигаясь вперед, несколько раз приостанавливался и оглядывался на товарища, как бы ожидая, не понадобится ли ему какая помощь, но в таких случаях сечевик каждый раз говорил ему:

– Иди, иди, Иване... Чего ж ты стал? Может, ты задумал собирать цветки в траве или грибов поискать хочешь?

И Иван опять двигался дальше.

Гораздо скорее, чем ожидала Маруся, выбрались они на опушку леса.

С этой стороны у самой опушки начались поля, и узенькая межа между цветущей гречихой, над которой жужжал рой пчел, сводила на черную проселочную дорогу, которая правильными, как издали представлялось, вавилонами вилась к обозначавшемуся на горизонте селению, пересекая по пути две небольшие дубровки.

– Видишь, Маруся, вот дубровка... та, последняя... Иди, моя ясочка, иди... Вот хустка...

Он показал ей точно такую же хустку, какую она раз подняла на церковном крыльце и подала гетманской пани братчихе.

Маруся взяла хустку, хотела итти, но тихо вскрикнула и остановилась.

Сечевик, который положил ей ласкающую руку на голову, вдруг зашатался и, не будь товарища Ивана, наверное бы упал.

– Кровь! кровь! – вскрикнула Маруся в ужасе.

Кровь, точно, свежая, теплая кровь просачивалась сквозь ветхую свитку старого бандуриста.

– Ничего, Маруся, ничего, – проговорил сечевик. – Помнишь, что мы с тобой говорили? Не тот козак, что за водой плывет... а тот, что против воды... Это заживет... Мы ведь с тобой пустились не ягоду малину рвать... сладкого и ждать нечего... Иди, моя ясочка... иди... Надень хустку на голову...

– А ты? – спросила Маруся, дрожащими ручками повязываясь по его совету червоною хусткою.

– Я приду, мое сердце, приду... Раздались, один за другим, три выстрела. Товарищ Иван прислушался и проговорил:

– Они!

– Иди, Маруся, иди... – повторил сечевик.

Он хотел, по своему обычаю, погладить ее по голове, но рука не поднялась. Он только проговорил:

– Иди, Маруся: надо! Она пошла.

– Оглядываться можно? – проговорила она, как бы обращаясь к отсутствующему руководителю.

И оглянулась.

На опушке уже никого не было. Лес казался сплошной зеленою стеною.

Это не помешало ей еще раз оглянуться.

Впрочем, уступая сердцу, она не забывала вверенного ей дела и шла быстро, как могла.

Вот первая дубровка, вся насквозь прохваченная пурпуром заката. Сколько здесь цветов цветет и благоухает.

Вот опять поля, опять цветущая гречиха, жужжащий рой пчел. Близехонько прокричал перепел.

Вот и мостик за дубровкой.

Кто-то будто скачет, шибко скачет.

Надо поглядеть, откуда и кто.

Похоже, как будто, на татарина. Да, таких встречали они не раз по дорогам и всегда от них прятались или в ров, или в жито.

Не спрятаться ли теперь?

Он скачет прямо к мостику. Надо спрятаться в очерет.

Но она не успела сделать и шагу к густому очерету, росшему около мостика, у берега мелкого прозрачного ручья, в виде гигантской зеленой щетки: раздался выстрел, и червоная хустка заалела на черной дороге.

Хустка эта брала только своим цветом, доброта ж ее оказалась такая, что даже жадный татарин не польстился ее снять и снова ускакал, как бы обманутый в своих ожиданиях.

Когда все стихло, из дубровки, из той, что за мостиком, вышел какой-то поселянин с топором и вязанкой зеленых сучьев за плечами и, проходя мимо, наклонился, обернул к себе помертвевшее детское личико, приложил руку к груди, под которой образовалась уже лужица теплой крови, потом, проговорив: «Нет, уж не оживешь!» – пошел дальше своею дорогой.

Он, впрочем, снял червоную хустку и унес с собою.

Давным-давно все это случилось, но до сих еще пор небольшая могила, неподалеку от этих мест, называется «Дивоча».

Говорят тоже, что могилу эту насыпал сам, своими руками, какой-то запорожец.

Маша

(Из цикла «Рассказы из русского народного быта»)

I

Не родись ты пригож, а родись счастлив, говорят, и правду говорят истинную! Меня в молодости красавицею величали, а счастье-то мое какое? Ох, много я извела на своем веку! Муж у меня был буйный, грозный. А вот сестра из себя невглядная была, и слабая такая, хилая, худенькая, да талан ей Бог послал: муж в ней души не чаял, и деточки росли. Бывало, как придет мой хмельной да разбушуется, выгонит меня – хоть на дворе мороз трещи, хоть дождь лей: ему нипочем, не пожалет, – я пойду к сестриному окошечку, постою, погляжу... Сидит она с мужем, говорят себе любовно, тихо у них да согласно. Слава Богу, подумаю, хоть сестре талан вышел! Бывало, и не зайду к ним, не покажусь: что их собою печалить! Ведь догадаются, с какой радости поздним вечером брожу.

И вот сестра-то моя, живучи и в приволье, и в любви, все чахла да чахла. Настанет весна, свежая травка пробивается, ручьи журчат, солнышко блещет – людям дышится вольнее, а она сляжет: грудь болит, кашель ее душит. Да все еще подержалась бы она, может, на свете, если бы не помер муж. Ездил за дровами в ненастье; приехал – захворал да на пятый день Богу душу отдал. Схоронила его сестра и сама красного лета не дождалась.

Перед смертью она и говорит мне: «Сестра! вот я умираю, – будь же ты в моем доме хозяйка, моим детям мать. И им будет лучше, и тебе веселее; ведь и ты сиротеешь одинокою».

А я тогда уж вдовой была.

Распродала я кой-какие пожитки свои да и перешла к сестриним детям. После нее двое осталось: сынок и дочка. Сын по десятому году остался, дочка по четвертому. Добрые были деточки, спасибо им! Отроду мне виду косога не показали, слова грубого не слыхала от них, покоили меня, почитали. Взрастила я их, взлелеяла, и стали они мне что родные дети.

II

Брат и сестра, а не схожи были нравом, уж как не схожи! Федя был мальчик веселый, смиренный, покорный, а Маша уж такая своеобычная, такая быстрая, пытливая! Бывало, скажешь Феде: Федя, голубчик! не делай того или другого, не ходи куды, не говори чего, – он покорится охотно, – не надо, так и не надо! – и другим себе займется. А Маша допытываться станет: да отчего, да почему? И свои доводы у ней найдутся, да еще, случается, и меня-то старуху с толку собьет, что я виновата выйду, а она права. И ко всему-то Маша прислушивается, все замечает, все проведает; что ты ни спроси – все слышала, все знает, да еще обсуждает своим умишком детским. Что это за душа у ней была зарная, живая, неукротимая! Что, бывало, задумала – уж сделает; захотела чему научиться – научится. Ну, вот хоть примерно сказать: пожелалось ей кружево плести. «Где тебе, Маша, – говорю ей, – ручонки-то у тебя какие?» А ей всего седьмой годок тогда пошел. Она все просит: покажите, научите! Я показала ей. Сидела моя девочка почитай что с неделю, путала-путала, просто не ела, не пила, пока не выучилась. Подходит, мне показывает, а глазенки-то так и сяют, так и бегают. Я беру усмехаючись, глянула – диву далась: ведь выплела кружево ровно, славно. И вот так-то во всем, бывало, своего добьется. А с виду тихая и не речистая.

Вот пошел Маше десятый годок. Случись мне с Федей в город поехать, того-другого припасти надо было; еду да и наказываю Маше: «Смотри, Маша, никуда не отлучись из дому; жди нас, гостинца привезем». Она обещалась. А слово у нее, даром что детское, верное, – я спокойно себе отъехала.

Пока мы огляделись, пока закупили, воротились домой поздним вечером; в избу вошли – Маша не встречает. Окликаем ее – тихо, нету. Подождали – все нету. Пошел Федя к соседям, спросил. А соседи рассказывают: «Маша ваша все сидела подле своей избы на завалинке, с нашими ребятишками играла; а тут барыня проходила деревней, остановилась, посмотрела и спрашивает у вашей Маши: «Что это ты так расшумелась? (А они тогда в коршуны играли). Свою барыню знаешь? Чья ты?» Маша оробела, что ли, не ответила, а барыня-то ее выбрала: «Дура, растешь, не умеешь говорить!» Маша так и сгорела вся, и заплакала, а барыне жалко, верно, стало: «Поди сюда, дурочка, поди ко мне! – говорит. – Что смотришь исподлобья, поди, поклонись барыне!» – Да видит, что Маша не идет: «Подведите ее ко мне!» – приказывает ребятишкам. Маша как бросится бежать, и не догнали. После мы ее и не видали, не выходила на улицу. А барыня старосте говорила: «Что ты таких девчонок не посылаешь хоть в саду дорожки чистить? Ты посылай!»

Пришел Федя, рассказал мне; дрогнуло у меня сердце. Где же это Маша делась? – думаю. А Федя сам не свой: крепко он сестренку любил. Ждали мы, ждали, думали-думали, да и пошли ее искать, всю деревню обошли, окликаем ее потихоньку – нет как нет! Идем уж домой огородами соседскими, конопляниками. Вдруг как бросится к нам Маша...

Схватили мы ее на руки, поцеловали крепко: слава Богу, жива, нашлась!

III

– Пойдем домой, Маша! – говорю, не поминаю ей, что она напроказила, вижу – девочка перепугана.

– Дай я тебя на руках донесу, Маша! – говорит Федя, радостный такой.

Маша все обнимала нас, а тут стала вырываться.

– Пойдем домой, Маша! Упирается. – «Не пойду».

Мы ее уговаривать. «Не пойду, не пойду... меня барыня возьмет!...» Да давай прижиматься ко мне, проситься: «Не отдавайте меня ей! Спрячьте меня!»

– Не бойся, родненькая, не бойся! Это тебя постращали только.

Кое-как уговорила ее, привела домой, успокоила, да тогда уж и говорю ей:

– Маша, чего ты барыне-то не ответила? Нехорошо, дитятко!

Так она и вспыхнула вся.

– Не маленькая ты, Маша, – все увещаю, – знаешь, чай, что барыне покориться надо; хоть она и сурово прикажет – слушаться надо.

– А если не послушаешься? – промолвила Маша.

– Тогда горя не оберешься, голубчик, – говорю. – Любо разве кару-то принимать?

А Федя даже смутился, смотрит на сестру во все глаза.

– Убежать можно, – говорит Маша, – убежать далеко... Вот тростяньские летось бежали.

– Ну, и поймали их, Маша... а которые на дороге померли!

– А пойманных-то в острог посадили, распинали всячески, – говорит Федя.

– Натерпелись они и стыда и горя, дитятко! Я говорю, а Маша все свое:

– Да чего за барыню все так стоят?

– Она барыня, – толкуем ей, – ей права даны; у ней казна есть... так уж ведется...

– Вот что! – сказала девочка. – А за нас-то кто ж стоит?

Мы с Федей переглянулись: что это на нее нашло?

– Неразумная ты головка, дитятко! – говорю.

- Да кто ж за нас? – твердит.
- Сами мы за себя, да Бог за нас! – отвечаю ей.

IV

С той поры только и речи у Маши, что про барыню. «И кто ей отдал нас? И как? И зачем? И когда? Барыня одна, – говорит, – а нас-то сколько! Пошли б себе от нее, куда захотели, что она сделает?» Откуда у ней такие мысли брались, что в пору только старому человеку подумать! Отгонишь ее: «Полно тебе, Маша, молоть!» Она себе сядет, задумается, да иной раз, подпершись ручкой, так долго-долго сидит, думает...

Вдруг одним утром к нам староста на двор. Маша завидела его, побелела и отбежала в уголок. Вошел и кличет Машу на работу. «Иди, – говорит, – на барщину, красная девушка!» Шуткою хотел развеселить нас, что ли, – добрый был человек покойник, – да видит, что мы головы повесили – и сам вздохнул.

- На меня не пеняйте, – молвил, – я сам человек подневольный!
- Иди, Маша, – говорю.

А на Маше лица нет. Крепко уцепилась за лавку ручонками.

- Не пойду, – шепчет, – не пойду!

Мы ее уговаривать, усовещивать: «Через тебя и нам достанется!» – а у нее одно слово ответное: «Не пойду!»

Что с ней сделаешь? И жалко ее укорять-то: девочка совсем потерялась. Мы отговорились: больна Маша.

Ведь доля-то наша такая, что порою поневоле слукавишь! – Горькая доля, скажу вам!

Надеялась я, что ласкою ее ублажу, и все тихонько уговаривала. Не слушается девочка!

Прошел год, другой, третий. Уж сколько мы хлопот, сколько горя набрались с этой Машей! Полоть ли огороды барские кличут, по ягоды ли господам посылают – «Не могу, – говорит Маша, – я больна!» А барыня ее помнила, и все, бывало, спрашивает: «Отчего нет на работе Ивановой Машки? Больна? Чем это больна? Приведите, я посмотрю ее сама». И водили к ней Машу сколько раз. «Чем больна?» – «Все болит!» Барыня побранит, погрозит и прогонит ее. «Чтоб была завтра на работе!» – прикажет. – «Слышишь?» – «Слышу», – ответит Маша, а не пойдет и завтра. Стала барыня очень гневаться, и за нас с Федею принималась, что мы Маше потакаем.

А мы сами тому не рады, сами ее увещеваем – иди! Один раз грех, точно, был, что мы слукавили, сказали, что больна, – кто ж ее знал, что за это уцепится... Стоило только Маше поклониться, попроситься – барыня ее отпустила бы сама, да не такая была Маша наша. Она, бывало, и глаз-то на барыню не поднимет, и голос-то глухо звучит у ней; а ведь известен нрав барский: ты обмани – да поклонись низко, ты злой человек – да почтителен будь, просися, молися: ваша, мол, власть казнить и миловать – простите! – и все тебе простится; а чуть возмутился сердцем, слово горькое сорвалось – будь ты и правдив, и честен – милости над тобою не будет: ты грубиян! Барыня наша за добрую, за жалостливую слыла, а ведь как она Машу донимала! «Погодите, – бывало, на нас грозит, – я вас всех проучу!» Хоть она и не карала еще, да с такими посулками время невесело шло.

V

– Вот, Маша, – говорит Федя, – какая у тебя совесть-то! Нипочем тебе в глаза неправду говорить. Чем ты больна? Только Бога гневишь! Я ведь вижу, как ты по вечерам танки-то водишь. До барыни, думаешь, не дойдет? Нехорошо, что ты нас под барский гнев подводишь!

Махнул Федя рукой да и замолчал. Маша вспыхнула, вздрогнула, а сказать ничего не сказала. Только с той поры она не идет на улицу. Ну, думаю, недолго она посидит – соскучится! Проходит неделя, проходит месяц – она все дома, – только припавши к окошечку смотрит, как другие гуляют. А у нас, в погожий вечер, на улице сберутся и девушки, и ребяташки сбегутся, – тут пойдут игры разные, беготня, песни. Иной раз подумаешь – тонкозвонящими колокольчиками полна целая улица. Так и разливается веселый смех молодой, то писк слышен, то плач ребячий. Вышла молодуха унять озорников и все покрыла своим голосом звонким, строгим. А Маша тоскливо прислушивается, отклик всякий, всякое слово ловит, а сама не замечает, как у нее слеза сбежит горячая. Жду-пожду, что вот она попросится, – нет, видно, не дождешься! Совесть, думаю, девочка, дай уж я выручу ее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.